

Теодор СТАРДЖОН



БРАК С МЕДУЗОЙ

Мастера фантазии

Эдвард Уолдо

Брак с Медузой

«Издательство АСТ»

1941, 1947, 1953, 1956, 1958, 1970, 1971

УДК 821.111-312.9
ББК 84(7Coe)-44

Уолдо Э. Г.

Брак с Медузой / Э. Г. Уолдо — «Издательство АСТ», 1941,
1947, 1953, 1956, 1958, 1970, 1971 — (Мастера фантазии)

ISBN 978-5-17-122071-6

«Девяносто процентов научной фантастики – полная чушь, однако следует помнить, что девяносто процентов всего есть полная чушь». Это утверждение, известное также как Откровение Старджона, едва ли применимо к его собственному творчеству. Сменив множество профессий, от сборщика мусора до литературного агента, от плотника до лектора в университете, он с таким же жадным любопытством пробует жанры и стили, литературные формы и форматы. Недаром критики называли Старджона «лучшим стилистом в истории американской фантастики». Разрушитель всяческих табу и неписаных правил НФ, предвестник многих открытий американской новой волны 1960-х годов, он легко находил ключи к сердцам читателей всех возрастных категорий и вкусовых пристрастий. Детям нравились забавные истории вроде «Крошки и чудовища». Романтические натуры не могли не оценить «Летающее блюдо одиночества» о влюбленности одинокой женщины в инопланетянина. Интеллигенция с энтузиазмом воспринимала размышления о пугающе безграничных возможностях человеческого разума в «Больше, чем люди» и «Браке с Медузой». Творчество Старджона с интересом изучали Курт Воннегут, Рэй Брэдбери, Сэмюэль Дилени, а очарованный им Стивен Кинг резюмировал: «Один из величайших фантастов, когда-либо рождавшихся на свет». В юности Старджон мечтал стать цирковым гимнастом, но в итоге столь широко расправил крылья своей фантазии, что взлетел выше любого трюкача или акробата...

УДК 821.111-312.9
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-122071-6

© Уолдо Э. Г., 1941, 1947, 1953, 1956,
1958, 1970, 1971

© Издательство АСТ, 1941, 1947, 1953,
1956, 1958, 1970, 1971

Содержание

Больше, чем люди	7
Часть первая. Фантастический идиот	7
Часть вторая. Малышу – три	47
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Теодор Старджон Брак с Медузой

Theodore Sturgeon
MORE THAN HUMAN

© Theodore Sturgeon, 1941, 1947, 1953, 1956, 1958, 1970, 1971

Школа перевода Баканова, 2020

© Перевод. Ю. Соколов, 2020

© Перевод. К. Егорова, 2020

© Перевод. К. Булычев, наследники, 2020

© Перевод. Е. Абаева, 2020

© Перевод. Л. Таулевич, 2020

© Перевод. Н. Холмогорова, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

Больше, чем люди

Его геитальт-величеству Николасу Сэмстагу

Часть первая. Фантастический идиот

Идиот жил в черно-сером мире, который пронзали белые молнии голода и мерцающие зарницы страха. В его ветхой одежде зияли окна прорех. В них выглядывало то колено, угловатое и острое, как зубило, то частокол ребер. Долговязый, плоский парень. И на мертвом лице – застывшие глаза.

Мужчины откровенно отворачивались от него, а женщины не решались поднять взгляд. Лишь дети подолгу разглядывали идиота. Но он не обращал на них внимания. Идиот ни от кого ничего не ждал. Когда ударяла белая молния, его кормили. Пропитание он добывал сам или вовсе обходился. А случалось, его кормил первый встречный. Идиот не знал, почему так происходит, и не задумывался об этом. Он не просил, он просто стоял и ждал. И стоило прохожему заглянуть в его глаза, как в руке идиота оказывалась монетка, кусок хлеба или какой-нибудь плод. Тогда он ел, а неожиданный благодетель торопился прочь, охваченный смутной тревогой и недоумением. Изредка с ним пытались заговорить; иногда о нем говорили между собой. Он слышал звуки, но смысла для него они не имели. Он жил сам в себе, далеко-далеко, не ведая связи между словом и его значением. Видел он великолепно и мгновенно замечал разницу между улыбкой и гневным оскалом, но ни та ни другая гримасы ничего не значили для существа, лишённого сочувствия, никогда не смеявшегося и не скалившегося, а потому не понимавшего чувств своих веселых или гневных собратьев.

Страх в нем хватало ровно на то, чтобы сохранить целыми шкуру и кости. Он не умел предвидеть что-либо вообще. Так что всякая занесенная палка, любой брошенный камень заставляли его врасплох. Правда, первое же прикосновение пробуждало его. Он спасался бегством. И не успокаивался, пока не стихала боль. Так он избегал бурь, камнепадов, мужчин, собак, автомобилей и голода.

Идиот ничего не желал. Вышло так, что жил он скорее в глуши, чем в городе; и поскольку жил там, где оказывался, получалось, что оказывался по большей части в лесу, а не где-то еще.

Четыре раза его запирали, и всякий раз это ничего не значило для него и ничего не меняло в нем. Однажды его жестоко избил сокамерник, другой раз, еще сильнее, охранник. В двух других местах был голод. Когда у него была пища и его оставляли в покое, он оставался. Когда наступало время бежать, он бежал. Средства для спасения предоставляла внешняя оболочка его существа, сердцевина же его или вовсе не тревожилась, или никак не распоряжалась своей скорлупой. Но когда приходило время, тюремщик или охранник замирали перед лицом идиота, в глазах которого словно кружили колеса радужек. Тогда запоры и засовы сами собой открывались, идиот уходил, а благодетель, как всегда, торопился найти себе какое-нибудь занятие, чтобы скорее забыть то, что произошло.

Идиот был животным... тварью, слишком деградировавшей для того, чтобы жить среди людей. И большую часть своего времени он проводил животным вдали от других людей. И будучи животным, по лесу он передвигался с изяществом зверя. И убивал как животное: без радости и без ненависти. Как животное, ел все съедобное, что удавалось найти, и когда ел (если это случалось), ел досыта, но не более. И спал он, подобно животным, сном неглубоким и легким, противоположным человеческому сну, ибо человек спит, чтобы погрузиться в сон, а животное для того, чтобы проснуться от сна. Он был зрелым зверем: игры котят и щенят

не занимали его. Не знал он шутки и радости. Настроение его менялось от ужаса к удовлетворению.

Было ему двадцать пять лет.

Но, как косточка в персике, как желток в яйце, пребывало в нем нечто другое... пассивное, восприимчивое, бодрствующее и живое. И если оно было чем-то связано с животной оболочкой, то игнорировало эти связи. Сущностью своей оно происходило от идиота, однако во всем прочем пренебрегало им. Он часто чувствовал голод, но по-настоящему голодал редко. И когда голодал, это внутреннее, быть может, немного съезжилось, однако не замечало собственного умаления. Оно должно было умереть вместе со смертью идиота, однако не испытывало желания отсрочить это событие хотя бы на секунду.

Это оно не обладало никакой функцией, присущей именно идиоту. Селезенка, почка, надпочечник – все эти органы имеют свои конкретные функции, исполняемые на оптимальном уровне. Однако существовавшая в идиоте штукавина только воспринимала и запоминала. Она делала это без слов, без какой-либо кодирующей системы; без перевода, без искажения, без действующих выводов наружу. Она воспринимала то, что воспринимала, и ничего не выдавала вовне.

Своими особыми чувствами ощущала окружавшее ее тихое бормотанье, посылку. Она была пропитана этим бормотаньем, и когда оно приходило, поглощала его целиком и полностью. Быть может, она сопоставляла его и классифицировала, а возможно, просто питалась им, забирая необходимое и отбрасывая остальное каким-то непостижимым для нас образом. Идиот об этом не знал. Штуковина же...

Без слов: *тепло, когда ненадолго становится чуть сыровато, но ненадолго и недостаточно.* (Печально): *Больше не темно.* Ощущение удовольствия. Чувство давления, легкий треск и *уберите розовое и колючее.* Подожди, подожди-ка, ты еще можешь вернуться, да, ты можешь вернуться. Другим, но почти не хуже. (Клонит в сон): *Это, оно вот! Это же – ох!* (Тревога): *Ты зашел слишком далеко, вернись назад, вернись назад, верн...* – (гнетущее внезапное прекращение; на один «голос» меньше.)... *Все несется вперед, быстрее и быстрее, уносит меня.* (Ответ): *Нет и нет. Ничто не несется. Все покоится; что-то пригнетает тебя к себе, вот и все.* (Ярость): *Они не слышат нас, глупые, глупые... Они... Нет, не слышат, только плач, только ропот.*

И все это без слов. Впечатление, уныние, диалог. Излучения страха, напряженные поля сознания, недовольства. Бормотание, посылка, речь, общение с сотнями, с тысячами голосов, обращенных не к идиоту. Ничего имеющего к нему отношение; ничего такого, чем он мог бы воспользоваться. Он не подозревал о внутреннем слухе, потому что слух этот был бесполезен. Идиот был плохим образчиком человеческой природы, и при всем том являлся мужчиной; а голоса эти принадлежали детям. Очень маленьким детям, не научившимся еще не пытаться докричаться до ближних. *Только плач, только шум...*

Мистер Кью был отличным отцом, лучшим из всех отцов. Так он сам сказал своей дочери Алисии в ее девятнадцатый день рождения. Эти слова он повторял дочери с той поры, как ей исполнилось четыре года. Столько лет было Алисии, когда появилась на свет крошечная Эвелин, и мать обеих девочек умерла, проклиная мужа, ибо на сей раз пробудившееся в ее душе негодование пересилило ее муки и страх...

Только хороший отец, лучший из всех отцов, мог сам принять роды. И только исключительный отец мог вынуждать и выпестовать обеих девиц с беспримерной заботой и нежностью. Ни один ребенок на свете не был огражден от зла столь надежно, сколь Алисия; а когда она подросла и соединила свои силы с отцом, для Эвелин был создан прочнейший покров чистоты.

– Чистоты тройной перегонки, – сказал Алисии мистер Кью в ее девятнадцатый день рождения. – Зло я знаю отменно – во всех его проявлениях, а потому учил тебя только добро-

детели, чтобы ты была примером, звездой для Эвелин. Я знаю все зло, каким оно есть, а тебе известно то зло, коего следует избегать девице, но Эвелин не знает зла.

В свои девятнадцать Алисия была достаточно зрелой, чтобы понимать такие абстракции, как «все его проявления» и «перегонка», а также такие общие понятия, как «добро» и «зло». В шестнадцать отец объяснил ей, как, оставшись наедине с женщиной, мужчина теряет рассудок и на теле его выступает ядовитый пот... Этот пот способен отравить женщину. В книгах отца были отвратительные картинки, подтверждавшие эти слова. В тринадцать у нее впервые случились некие неудобства, и она рассказала о них отцу. Со слезами на глазах тот поведал ей, что это приключилось потому, что она слишком занята своим телом. Алисия призналась в этом, и отец наказал это тело так, что она пожалела, что оно у нее есть. Алисия со всем усердием старалась не думать о теле, но это не всегда ей удавалось, и отец регулярно, с полным прискорбием помогал ей смирить непокорную плоть. Еще в восемь он научил ее купаться в полной темноте, дабы не появились бельма на глазах, изображения которых также присутствовали в его библиотеке. А в шесть он повесил в ее спальне картину, изображавшую женщину по имени Ангел и мужчину по имени Дьявол. Женщина поднимала руки вверх и улыбалась, а мужчина тянул к ней крючковатые и когтистые руки, а наружу из груди его торчал кривой и влажный шип.

Жили они в тяжеловесном доме на челе заросшего лесом холма. К дому не вела ни одна дорога, лишь тропка петляла сквозь заросли, так чтобы не было такого окна, из которого представлялась бы возможность проследить весь ее извилистый путь. Тропа подходила к стене, к железным воротам, не открывавшимся целых восемнадцать лет; рядом с ними было стальное окошко. Раз в день отец Алисии отправлялся к стене и двумя ключами открывал два замка в окошке. Потом поднимал металлическую панель, забирал продукты и письма, оставлял деньги и свою почту и вновь запирает окно.

Снаружи к стене подходила узкая дорога, которой Алисия и Эвелин никогда не видели. Лес скрывал стену, и стена скрывала дорогу. Стена тянулась вдоль дороги на двести ярдов в обе стороны, на восток и на запад, а потом взбегала на холм, пока целиком не охватывала дом. Здесь ее продолжал железный частокол высотой футов в пятнадцать, такой плотный, что между стальными штакетинами едва можно было просунуть кулак. Верхушки их были загнуты вниз и наружу, а понизу уходили в цемент, утыканный битым стеклом. Забор тянулся на запад и восток, соединяя дом со стеной, а там, где они смыкались, начинался новый забор, кружком охватывавший лес. Стена и дом образовывали прямоугольник, являвшийся запретной для посторонних территорией. Позади дома находились две огороженных квадратных мили леса, принадлежавшие Эвелин под присмотром Алисии. Там был ручеек, дикие цветы и маленький пруд, друзья-дубы и укромные лужайки. Небо над лесом оставалось чистым и близким, а забор нельзя было заметить за плотными зарослями падуба, закрывающими перспективу, преграждающими путь ветерку. Этот крошечный пятачок был для Эвелин целым миром, больше она ничего и не знала – все, что она любила, заключалось внутри ограды.

В девятнадцатый день рождения Алисии Эвелин сидела одна у своего пруда. Она не видела дом, не видела заросли падубов и заборы, однако над нею высилось небо, а рядом журчала вода. Алисия ушла в библиотеку вместе с отцом, по случаю дней рождения он всегда находил для нее в библиотеке что-то особенное. Эвелин в эту комнату никогда не допускали. В библиотеке жил сам отец. И в нее разрешалось заходить только Алисии, и то по особым случаям. Эвелин и в мыслях не имела войти туда, – не более чем научиться дышать под водой подобно пятнистой форели. Младшую сестру даже не учили читать – только слушать и повиноваться. Ей не суждено было искать – лишь принимать. Знание было даровано ей только тогда, когда она оказывалась готовой принять его, и только отец и старшая сестра знали, когда настанет этот момент.

Эвелин сидела на берегу, расправив длинные юбки. Заметив, что оголилась лодыжка, она охнула и поспешно прикрыла ее, как сделала бы Алисия, окажись она рядом. Прислонившись спиной к ивовому стволу, она глядела на воду.

Была весна, та самая пора, когда уже лопнули все оболочки, когда по иссохшим сосудам хлынули соки, когда раскрылись склеенные смолой почки, когда в стремительном порыве весь мир разом обрел красу. Воздух стал сладким и густым, он щекотал губы, и они раздвигались – он настаивал на своем, – и они отвечали улыбкой... и тогда он рвался в легкие, чтобы вторым сердцем забиться у горла. В воздухе этом была загадка, тишину и покой его наполняли недвижные краски снов, и все же он куда-то спешил. Этот покой, это стремление наполняла собственная жизнь, но как могли так тесно сплестись друг с другом стремление и покой... в этом крылась загадка.

Пересвист птиц мелким стежком прошивал зелень. Глаза Эвелин пощипывало, и лес расплывался за туманной пеленой изумления. Что-то напряглось у нее на коленях, она посмотрела вниз и увидела, как руки ее набросились друг на друга, и полетели в траву длинные перчатки. Нагие ладони взметнулись к вискам – не для того, чтобы спрятаться, но чтобы разделить нечто. Она наклонила голову, и ладони улыбнулись друг другу под железным пологом расчесанных волос. Обнаружив четыре крючка, пальцы ее расстегнули их. Руки сами собой потянулись к крючкам. Высокий воротник распахнулся, и зачарованный воздух с безмолвным криком припал к ее телу. Эвелин задыхалась, словно от бега. Нерешительно, робко она протянула руку, погладила траву, словно пытаясь поделиться невыразимым восторгом, переполнявшим ее. Но трава не отвечала, и Эвелин упала на землю, зарывшись лицом в юную мяту, и зарыдала: столь невыносимо прекрасной была эта весна.

Идиот тем временем бродил по лесу. Он отдирает кору с мертвого дуба, когда подобное произошло и с ним. Руки замерли, голова повернулась на зов. Власть весны он подчинялся как всякий зверь, может, чуть острее. И вдруг она разом сделалась чем-то большим, чем просто густой, исполненный надежд воздух, чем истекающая жизнью земля. Жесткая рука на его плече не могла быть более властной, чем этот зов.

Идиот поднялся – осторожно, словно бы мог неосторожным движением сломать что-то рядом с собой. Станные глаза загорелись. Он шел... он, которого до сих пор никто еще не звал, он, который не звал никого и никогда. Он шел к тому, что ощущал, подчиняясь не внешнему зову, но собственной воле. Идиот начинал думать... Он ощущал, как рвется внутри оболочка, прежде сдерживавшая потребность в мысли. Всю его жизнь она, должно быть, таилась внутри его существа. Сейчас этот властный зов был обращен ко всему человеческому в нем, к той части его, что до этого дня слышала лишь младенческий лепет и дремала, забытая и ненужная. Но теперь она говорила. И получалось, что говорила на собственном языке.

Он был осторожен и быстр, быстр и осторожен. То туда, то сюда разворачивая широкие плечи, скользил сквозь заросли. Шел бесшумно и легко, пробираясь меж стволами ольхи и березы, задевая стройные колонны сосен, как если бы не имел права оставить прямую линию, соединявшую его с этим зовом. Солнце стояло высоко; лес вокруг был тем же самым лесом впереди, справа и слева, но он шел, не сворачивая, в одном только ему ведомом направлении, следуя не знанию, не компасу, но осознанному внутреннему зову.

Он добрался до места внезапно. Ведь когда идешь по лесу, поляна – всегда неожиданность. Вдоль частокола все деревья были тщательно вырублены футов на пятьдесят, чтобы ни одна ветвь не могла перевеситься через забор. Идиот выскользнул из леса и затрусил по нагой земле к тесному ряду железных прутьев. На бегу он вытянул вперед руки, и когда они уперлись в равнодушный металл, ноги его все еще двигались, ступни толкались, как если бы нужда давала ему силу, чтобы пройти сквозь забор и густую заросль падуба за ним.

Преграда не поддавалась, и этот факт постепенно доходил до него. Получилось так, что первыми осознали это его ноги, осознали и перестали пытаться. А потом поняли это и руки. Поняли и отодвинулись от забора. Только глаза не сдавались. Взирая с мертвого лица, взглядом своим они пронзали забор, пронзали стену падуба, готовые взорваться ответом. Рот его открылся, извергая какой-то скрежет. Он никогда еще не пытался заговорить и не мог этого сделать сейчас, жест был итогом, но не средством, подобием слез, выступивших на реснице при музыкальном крещендо.

И он пошел вдоль забора боком, не имея сил отвернуть свое лицо от преграды.

Весь день лил дождь, лил он и ночью, только к полудню следующего дня прекратился, но едва выглянуло солнце, дождь снова хлынул, но уже вверх. Струи света били в зенит от тяжелых алмазов, усыпавших богатую новую зелень. Некоторые из алмазов съеживались, другие падали, и тогда земля благодарила голосом мягким, листья голосом своей кожицы, и цветы своими красками.

Эвелин припала к окну, положив локти на подоконник и обхватив щеки руками, губы от этого сами собой растягивались в улыбку. Она тихо пела. Странной была песня для слуха, ведь девушка не ведала музыки и даже не знала, что таковая существует на свете. Но вокруг щебетали птицы, а в печных трубах стонал ветер, перекликалась и пересвистывалась мелкая живность в принадлежащей ей части леса – и в той части, что была запретна для нее, и перешептывались в вышине кроны дубов. Из этих голосов и сложилась песнь Эвелин, странная и безыскусная, не знающая ни диатонической гаммы, ни размера:

Но я не трогаю счастье
И не смею я тронуть счастье.
Прелесть, о прелесть касанья,
Листья света между мною и небом.
Дождь коснулся меня,
Ветер тронул меня,
Листья кружат
И несут прикосновенье...

Потом она пела без слов, а еще позже пела без звука, провожая глазами капли, алмазами осыпающиеся с ветвей.

– Что это... что ты делаешь? – прозвучало вдруг резко и грубо.

Эвелин вздрогнула и обернулась. Позади нее стояла Алисия, лицо ее окаменело.

Махнув рукой в сторону окна, Эвелин попыталась заговорить...

– Ну же?

Эвелин снова махнула в сторону окна.

– Там, – сказала она, – я... я, – и, соскользнув со стула, встала. Встала, выпрямившись во весь рост. Лицо ее горело.

– Застегни воротник, – проговорила Алисия. – Что это случилось с тобой?

– Я стараюсь, – проговорила Эвелин голосом тихим и напряженным. Она поспешно застегнула воротник, но тут ладони ее легли на грудь. Эвелин стиснула свое тело. Шагнув вперед, Алисия сбросила ее руки.

– Нельзя. Что это... что ты делаешь? Ты говорила? С кем?

– Да, говорила! Но не с тобой и не с отцом.

– Но здесь никого нет.

– Есть, – промолвила Эвелин. И вдруг, задохнувшись, попросила: – Прикоснись ко мне, Алисия.

– *Прикоснуться?* К тебе?

– Да. Я... хочу, чтобы ты... просто... – Она протянула руки к сестре. Алисия попятилась.

– Мы не прикасаемся друг к другу, – проговорила она по возможности мягким тоном, стараясь преодолеть потрясение. – Что с тобой, Эвелин? Тебе плохо?

– Да, – ответила Эвелин. – Нет. Не знаю. – Она отвернулась к окну. – Дождь кончился. Здесь темно. А там столько света, столько... я хочу, чтобы солнечные лучи охватили меня, я хочу погрузиться в них, как в ванну.

– Глупая. Ведь тогда твое купание будет при свете!.. А мы ведь даже не говорим о купании, дорогая.

Эвелин подхватила подушку со стула, на котором сидела, обняла ее и со всей силой прижала к своей груди.

– Эвелин! Прекрати!

Эвелин вихрем обернулась к сестре и посмотрела на нее так, как никогда прежде. Губы ее дрогнули. Она плотно сомкнула веки, а когда вновь открыла глаза, на ресницах блеснули слезы.

– Не могу, – выкрикнула она. – Не могу!

– Эвелин! – шептала Алисия, пятясь к двери и не отводя от сестры потрясенного взгляда. – Мне придется рассказать отцу.

Эвелин согласно кивнула.

Добравшись до ручья, идиот уселся на корточки и уставился на воду. В танце пронесся листок, на мгновение замер в воздухе, поклонился ему и отправился дальше между прутьями ограды прямо в уготованную ему падубом глубокую тень.

Он никогда еще не мыслил логически, и, быть может, попытка проследить взглядом путь листка была рождена не мыслью. Тем не менее, сделав это, он обнаружил, что ручей уходил здесь в канал с бетонными стенками, перегородженный теми же прутьями. От стенки до стенки они перекрывали здесь путь воде так плотно, что проскользнуть сквозь эту гребенку мог разве что лист или сучок. Он затрепыхался в воде, толкаясь в железо, ударяясь в подводный бетон. Задохнулся, наглотался воды, но в слепой настойчивости не оставлял напрасных попыток. Схватив обеими руками один из прутьев, идиот потряс его, но только поранил ладонь. Он попробовал второй, третий... и вдруг железо стукнуло о нижнюю поперечину.

Результат в корне отличался от прежних попыток. Едва ли он мог осознать, что железо здесь проржавело и ослабло. Он ощутил надежду, потому что ситуация изменилась. Погрузившись в воду ручья до подмышек, он сел на дно и уперся ногами по обе стороны подавшегося звена. Вновь ухватил его руками, набрал воздуха в грудь и потянул изо всей силы. Розовое пятнышко поднялось от его рук и бледной струйкой скользнуло вниз по течению, он наклонился вперед и дернул, откидываясь назад. Проржавевшая под водой штакетина хрустнула. Идиот повалился назад, больно ударившись затылком о край желоба. На какое-то мгновение он обмяк, и тело его не то подкатилось, не то подплыло к ограде. Он глотнул воды, закашлялся и поднял голову. И когда закружившийся мир остановил свое вращение, идиот принялся шарить под водой. Там оказалось отверстие – высотой не менее фута, но всего в семь дюймов шириной. Он запустил в него руку до плеча, опустил под воду голову. Потом снова сел и попытался просунуть ногу.

И снова ощутил как непреложный факт, что одной воли недостаточно; одного давления на преграду было мало, чтобы заставить ее покориться. Он взялся за соседнюю штакетину и попытался ее сломать, но она не шевельнулась, как не пошевелилась и штакетина по другую сторону пролома.

Наконец он оставил попытки, безнадежно посмотрел вверх на пятнадцатифутовую вершину забора с его кривыми, голодными, грозящими ему клыками, а потом на ряды битого

стекла. Что-то мешало ему: пошарив в воде, он извлек из-под себя отломанную одиннадцатидюймовую железяку.

Коснись, коснись меня. Эта мысль призывала его, подкрепленная бурей эмоций; в ней угадывался голод, зов, поток ласки и нужды. Зов так и не прекратился, но сделался теперь иным. Как будто призыв превратился в волну, а зов стал оттиснутым на ней знаком.

Когда это случилось, нить, соединяющая обе его личности, дрогнула и расширилась. Пусть неуверенно, она начала проводить. Частички и мерцания внутренней силы скользнули по ней, впитали внимание и информацию и вернулись назад. Взгляд странных глаз обратился к куску железа, руки начали крутить его. Разум идиота пробудился, стена от долгого бездействия, а потом впервые занялся решением подобной проблемы.

Сев в воде у забора, он принялся перетирать своей железякой штакетины – под самой поперечиной.

Пошел дождь. Он не прекращался весь день, всю ночь и половину следующего дня.

– Она была здесь, – сказала Алисия. Лицо ее покраснело.

Мистер Кью обошел комнату, сделав круг, его глубоко посаженные глаза горели. Пальцами левой руки огладил кнут о четырех хлыстах. Алисия сказала, припоминая:

– Она хотела, чтобы я прикоснулась к ней. Она просила меня об этом.

– Я сам прикоснусь к ней, – пробормотал он. – Зло, зло, – начал он нараспев, – зло нельзя вывести из человека. А я-то думал, что справлюсь, я думал, что справлюсь. Ты, Алисия, наполнена злом, и знаешь это, потому что женщина нянчила тебя, она не один год прикасалась к тебе. Но к Эвелин она не... Это зло растворено в ее крови, и его надо выпустить на свободу. Где она, как думаешь?

– Наверно, снаружи возле пруда. Эвелин любит это место. Я пойду с тобой.

Отец поглядел на Алисию, на разгоревшееся лицо, на пылающие глаза.

– Это моя забота. Оставайся здесь.

– Ну пожалуйста!

Он шевельнул тяжелой рукояткой кнута.

– Тебе тоже захотелось, Алисия?

Она отвернулась от него, испытывая непонятное волнение.

– Потом, – прорычал отец, выбегая из комнаты.

Алисия, дрожа, ненадолго застыла на месте, а потом метнулась к окну. Отец уже был снаружи, он шагал широко и целеустремленно. Руки ее легли на оконный переплет, губы раздвинулись, и с них сорвалось странное бессловесное блеяние.

Эвелин добежала до пруда, задыхаясь. Невидимой дымкой, колдовским маревом нечто висело над самой водою. Она жадно впитывала это чувство – и вдруг ощутила близость. Она не знала, что ждет ее – существо или событие, – но оно было неподалеку, и Эвелин предвкушала встречу. Ноздри ее трепетали и раздувались. Добежав до края воды, она опустила ладонь.

И сразу вскипела вода в ручье; это идиот вынырнул из-под ветвей остролиста. Он повалился грудью на берег и, задыхаясь, снизу вверх глядел на нее. Широкий, плоский, исцарапанный, костлявый и утомленный. Ладони его опухли и покрылись морщинками от воды. Лохмотья липли к его телу, ничего не скрывая.

Завороженная девушка склонилась над ним, и зов послышался от нее – нет, хлынули потоки одиночества, ожидания, жажды, радости и сочувствия. Восхищение звучало в ее зове, и не было в нем ни потрясения, ни испуга. Не первый день она знала о нем, как и он о ней, и теперь оба безмолвно тянулись друг к другу, смешивая, сплетая, сливая чувства. Каждый уже обретал жизнь в другом, и теперь она, нагнувшись, коснулась его и провела ладонью по лицу и взъерошенным волосам.

Задрожав, он выбрался из воды. И она опустилась возле него. Так сидели они рядом, и наконец Эвелин увидела глаза идиота: они словно расширились, заполняя все небо. Со слезами радости она словно упала в них, готовая жить в них, а может, и умереть, но уж точно сделаться их частью.

Эвелин никогда не говорила с мужчиной, а идиот ни разу в жизни не произнес ни слова. Она не знала о поцелуях, а он если и видел их, то не знал, что это такое. Но им было даровано нечто большее, чем поцелуй. Они сидели рядом, ладонь ее лежала на его обнаженном плече, и токи внутренней сущности перетекали из одного тела в другое и возвращались обратно. Поэтому они не услышали ни решительной поступи отца, ни его изумленного вскрика, ни яростных воплей. Ничего, кроме друг друга, не видели они, пока не обрушился первый удар; схватив Эвелин, отец отбросил ее в сторону, не посмотрев, как и куда она упала. Он замер над идиотом, губы его побледнели, глаза разили. ... рот его шевельнулся и исторг ужасающий вопль.

И обрушился кнут.

Идиот был настолько поглощен тем, что происходило внутри него, что ни первый сокрушительный удар, ни второй его распухшая плоть даже и не заметила. Он лежал, уставившись куда-то в воздух, – туда, где только что были глаза Эвелин, – и не двигался.

Но вновь засвистели хлысты, терзая плетеными концами его тело. Тогда проснулся прежний рефлекс – спастись, – и он отодвинулся, пытаясь соскользнуть ногами вниз в воду. Мужчина отбросил кнут, схватил обеими руками костлявое запястье идиота и сделал с дюжину шагов по берегу, волоча за собой длинное, покрытое лохмотьями тело. Пнув свою жертву в голову, он бросился назад, к кнуту. А когда возвратился, оказалось, что идиот уже успел приподняться на локтях. Новым пинком мужчина повалил его на спину. Поставил ногу на плечо идиота, пригвоздил его к земле и ударил по нагому животу кнутом.

Тут за его спиной раздался кошмарный вопль – и было как если бы на него напал буйвол с когтями тигра. Тяжко рухнув на землю, он повернулся и увидел над собой обезумевшее лицо собственной дочери. Она прокусила собственную губу, с нее капала слюна и кровь. Эвелин вцепилась в лицо отца, один из ее пальцев впился в его левый глаз. Взвыв от боли, он сел, рванул пальцами сложное переплетение кружев на ее горле и дважды ударил по голове тяжелой рукоятью кнута.

А потом, что-то бормоча и скуля, снова обратился к идиоту. Однако тем теперь владела неотложная необходимость, она звала его бежать, смыв собой все прочее. И когда рукоятка кнута выбила сознание из девушки, разрушилось и кое-что еще. Так что теперь он мог только бежать, и ничто другое не было теперь возможно до тех пор, пока не будет достигнуто спасение. Длинное тело изогнулось, как у жука-щелкуна, подбросив его в воздух и перевернув в полусальто. Идиот приземлился на четвереньки и бросился наутек в то же самое мгновение. Кнут застиг его еще в полете, тело его в движении охватило плети, на короткий миг зажав их между краем ребер и костями ног. Рукоятка кнута выскользнула из рук мужчины. Завопив, он рванулся за идиотом, нырнувшим в арку между стволов падуба. Мужчина повалился лицом в листву и рванулся, рухнул в воду и бросился вперед уже в воде. Одна рука его вцепилась в голую лодыжку, потянула к себе, и та ударила его в ухо. И тут голова его уткнулась в железные штакетины. Идиот уже был под забором и за ним, он уже наполовину высунулся из ручья, из последних сил стремясь поставить свое изможденное тело на ноги. Обернувшись, он увидел, как беснуется, припав к железкам, его противник, не подозревающий о подводном проломе.

Идиот припал к земле, розовую от крови воду смывало с его тела и несло к преследователю. Рефлекс постепенно покидал его. Настало мгновение пустоты, а потом явилось незнакомое новое чувство. Столь же внезапное, как приведший его сюда зов, и почти столь же сильное. Чувство это было похоже на страх, но если страх казался ему туманом, липким и ослепляющим, то в этом чувстве было что-то от жажды, нечто жесткое и целеустремленное.

Выпустив из рук отравленные стебли, чахшие на обработанной химикатами полосе вдоль забора, он позволил течению снова отнести себя к забору, за которым корчилась физиономия обезумевшего отца. Обратившись мертвым лицом к забору, он раскрыл глаза пошире. Вопли смолкли.

Идиот впервые осознанно воспользовался собственными глазами не ради того, чтобы получить кусок хлеба.

Когда мужчина ушел, идиот выбрался из ручья. И, оступаясь, побрел к лесу.

Когда Алисия увидела возвращающегося отца, она прикрыла рот тыльной стороной ладони и впилась в нее зубами. Дело было не в одежде, мокрой и порванной, даже не в раненом глазе. Дело было в чем-то еще, так что...

– Отец!

Он не ответил, но направился прямо к ней. В самый последний миг, чтобы не переломиться случайной соломинкой под его ногой, она безмолвно отшатнулась в сторону. Он топтал мимо нее прямо в библиотеку, оставив открытыми двери.

– Отец!

Не получив ответа, она вбежала следом. Он находился в дальней стороне комнаты, возле шкафов, которые никогда не открывал при ней. Теперь один из шкафов был открыт, и отец доставал из него длинноствольный револьвер и коробочку патронов. Открыв ее, он рассыпал патроны по столу и начал методично заряжать револьвер.

Алисия подбежала к нему.

– Что с тобой? Что случилось? Ты ранен, дай я тебе помогу, что ты де...

Остекленелый взгляд единственного теперь глаза его был прикован к оружию. Отец дышал медленно и чересчур глубоко, слишком длинно вдыхал, чересчур долго задерживал выдох и с присвистом выталкивал его наружу. Он звякнул барабаном, шелкнул предохранителем, посмотрел на дочь и поднял оружие.

Взгляд этот ей никогда не суждено было забыть. Жуткие события случались с ней и тогда, и потом, однако время сгладило фокус, скрыло подробности. Но взгляд этот остался с ней навсегда.

Отец посмотрел на нее единственным глазом, поймал и пригвоздил, так что она задергалась, как насекомое на булавке. С ужасающей ясностью она поняла: отец не видит ее, не может отвести глаз от невидимого ей кошмара. Продолжая глядеть сквозь нее, он поднял пистолет, вложил ствол в рот и нажал на спусковой крючок.

Шума было немного. Только волосы на его макушке взметнулись. Глаз все смотрел вперед, смотрел, пронзая ее. Задыхаясь, Алисия выкрикнула имя отца. Но докричаться до него, мертвого, было невозможно, как и до живого, за несколько мгновений до выстрела. Он качнулся вперед, словно бы для того, чтобы показать ей ту кашу, в которую превратился его затылок, удерживавшая ее связь лопнула, и Алисия бежала из библиотеки.

Два часа, два полных часа прошло прежде, чем она сумела найти Эвелин. Одна из сестер была просто потеряна, превратившись в тьму и боль. Другая, напротив, стала слишком спокойной, она бродила по дому под аккомпанемент собственных стонов и хныканья.

– Что, – скулила она, – что ты сказал? – весь этот час пытаюсь что-то понять, допытаться, добиться ответа у тихого дома.

Эвелин она нашла у пруда, сестра лежала навзничь, с широко распахнутыми глазами. Голова девушки сбоку распухла, посреди опухоли зияла вмятина, в которую можно было просунуть три пальца.

– Не надо, – тихо шепнула Эвелин, когда Алисия попыталась приподнять ее голову. Мягко опустив ее, Алисия встала на колени, взяла сестру за руки и стиснула их.

– Эвелин, что случилось?

– Отец ударил меня, – спокойно проговорила Эвелин. – И теперь я собираюсь уснуть.

Алисия заскулила. Эвелин проговорила:

– Как называется, когда человек нуждается... в человеке... Когда хочешь, чтобы тебя касались... когда двое едины... и ничего другого вокруг не существует?

Читавшая книги Алисия задумалась.

– Любовь, – проговорила она наконец и, судорожно сглотнув, добавила: – Но это же – безумие! Скверное безумие.

На спокойном лице Эвелин почил отголосок неведомой Алисии премудрости.

– Это не так, – сказала она. – Любовь не так плоха. Я испытала ее.

– Тебе надо вернуться в дом.

– Я усну здесь. – Посмотрев на сестру, Эвелин улыбнулась. – Все в порядке... Алисия?

– Да.

– Я больше не проснусь, – проговорила она с той же странной мудростью. – Я хотела кое-что сделать, но уже не смогу. Сделаешь ли ты это для меня?

– Сделаю, – прошептала Алисия.

– Днем, когда лучи солнца будут прозрачны, искупайся в них... Но это не все. – Эвелин прикрыла глаза, легкая тучка набежала на ее безмятежное лицо. – Будь на солнце такой... Двигайся, бегай... Бегай и высоко прыгай. И пусть будет ветер, когда ты прыгаешь и бежишь. Я так хотела испытать это. Прежде я и не знала, что так хочу этого, а теперь я... ох, Алисия!

– Что, что с тобой?

– Вот там, смотри, неужели же ты не видишь? Там же стоит Любовь, и стан ее соткан из света!

Мудрые глаза ее спокойно глядели в темнеющее небо. Глянув вверх, Алисия ничего не увидела. А опустив взгляд вниз, поняла, что Эвелин тоже ничего больше не видит. Совсем ничего.

Далеко в лесу за забором звучали рыдания.

Алисия внимала им, потом закрыла глаза Эвелин. Медленно поднявшись, она направилась к дому, а за нею следовали рыдания – до самых дверей. И лишь за дверью она поняла, что и внутри нее все плачет.

Услыхав во дворе стук копыт, миссис Продд что-то буркнула себе под нос и выглянула в кухонное окно между канифасовых занавесок. В тусклом свете звезд, даже зная собственный двор, она с трудом разглядела лошадь и телегу для перевозки камней, а рядом собственного мужа, который вел лошадь в поводу. «Ну сейчас он у меня получит, – пробормотала она про себя, – бродит где-то по лесам... Я и ужин из-за него сожгла».

Но получить по заслугам Продду не удалось. Бросив один только взгляд на его широкое лицо, жена встревоженно спросила:

– Что случилось, Продд?

– Дай-ка одеяло.

– За каким...

– Живее. Тут парень раненый. В лесу подобрал. Будто медведь его изжевал. Вся одежда – в клочья.

Она торопливо вынесла одеяло. Продд выхватил его прямо из рук и исчез в темноте. Через минуту он вернулся, неся через плечо худощавого юношу.

– Сюда, – проговорила миссис Продд, открывая дверь в комнату Джека. Когда, удерживая обмякшее тело, Продд нерешительно остановился на пороге, она сказала:

– Шагай, шагай, не думай про грязь, вытру.

– Тряпок и горячей воды, – скомандовал Продд. Она отправилась исполнять указание, а фермер осторожно приоткрыл одеяло. – О боже!

Жену он остановил возле порога:

– Кажись, до утра не протянет. Может, не мучить его... – Он глянул на дымящийся таз в ее руках.

– Попробуем. – Она шагнула в комнату и сразу застыла. Продд осторожно взял таз из рук побелевшей жены.

Он протянул до утра. А потом еще целую неделю, и тогда только Продды решили, что у парня еще есть надежда. Он лежал на спине в комнате, которую звали комнатой Джека, ничем не интересовался и ничего не ощущал, кроме света, бившего в окна. Он лежал и смотрел, может быть, наблюдал за окружающим, но, скорее всего, нет. С постели и видеть-то было нечего. Дальние горы, несколько акров земли Продда, на которых время от времени появлялся и он сам: далекая фигурка, ковыряющая упрямую почву сломанной бороной. Внутренняя суть лежащего замкнулась в себе и, отдавшись скорби, безмолвствовала. Внешняя оболочка тоже съежилась. Когда миссис Продд приносила еду – яйца и теплое сладкое молоко, домашнюю ветчину и маисовые лепешки, – он ел, если она заставляла его, а если не настаивала, не обращал ни на женщину, ни на еду никакого внимания.

Вечерами Продд спрашивал:

– Ну, сказал что-нибудь? – и жена отрицательно качала головой.

Дней через десять ему пришла в голову мысль. По прошествии двух недель он изложил ее вслух.

– Ма, как по-твоему: он не чокнутый?

Она самым неожиданным образом вознегодовала:

– Как это – чокнутый?

Продд повел рукой.

– Сама знаешь, – тронутый, умишком хилый, вот как. Не говорит, потому что не может.

– Нет! – уверенно отвечала она. И, заметив вопросительный взгляд Продда, добавила: – Посмотри в его глаза. Разве у тронутых такие?

Глаза-то и он успел заметить. Взгляд их смущал его.

– Все-таки хотелось бы, чтоб он заговорил, – заметил Продд. – Как знать, может, парень вляпался во что-то такое, о чем лучше не помнить. Грейс-то, она поправилась, разве не так?

– Ну прежней-то она уже не стала, – ответила жена. – Но тем не менее переболела. Мне кажется, что иногда с нашим миром невозможно ужиться, и телу, так сказать, приходится отворачиваться от него, чтобы передохнуть.

Шли недели, раны зарастали, широкое плоское тело поглощало пищу, как кактус влагу. Никогда раньше в своей жизни не знал он отдыха, сытости и... Она сидела возле него и говорила. Пела песни... «Тихо теки, сладкий Афтон» и «Дома, на ранчо». Невысокая загорелая женщина с бесцветными волосами и выгоревшими глазами, охваченная голодом, подобным тому, что некогда терзал его. Она рассказывала застывшему, ни словом не отзывающемуся лицу о родне на востоке, о втором классе, о том, как Продд явился к ней свататься на «Форде-Т» своего босса, не умея даже водить машину. Она рассказала ему обо всем, что еще было живо в ее памяти: о платье, которое было на ней в день конфирмации, – тут клинышек, там клинышек, а здесь бантик, о том, как муж Грейс, в стельку пьяный, завалился домой: портки изорваны, под мышкой поросенок – да визжит, хоть затыкай уши. Она читала над ним молитвы и пересказывала по памяти Библию. Словом, выболтала все, что знала и помнила, но умолчала о Джеке.

Парень никогда не улыбался в ответ и не отвечал, только глаза его поворачивались к ней, едва она входила в комнату, прочее же время он терпеливо глядел на дверь. Насколько глубока эта разница, она не знала, но выздоравливало не только израненное тело.

Так и настал тот день – Продды сидели за ужином (сами они звали его обедом), когда внутри Джековой комнаты послышались звуки. Обменявшись взглядом с женой, Продд приподнялся и распахнул дверь.

– Ну-ну, посиди, в таком виде нельзя выходить. Ма, брось-ка ему мою запасную робу.

Он был слаб и на ногах держался с трудом, но все же стоял. Ему помогли добраться до стула, он сел, тупо уставившись в одну точку пустыми глазами. Миссис Продд вывела его из этого состояния запахом пищи, поднеся под нос полную ложку. Взяв ее в свой широкий кулак, он втянул ложку в рот и поглядел на миссис Продд мимо ладони. Потрепав его по плечу, она сказала, что все прекрасно и он великолепно справляется с делом.

– Ну, Ма, что ж ты его за двухлетку считаешь? – откликнулся Продд. Должно быть, эти глаза снова смутили его.

Она остановила мужа движением ладони. Все поняв, он не стал продолжать. Только ночью, когда Продд думал уже, что жена спит, она внезапно сказала:

– Да, Продд. Придется считать его двухлеткой. Хорошо, если не меньше.

– Как так?

– С Грейс было примерно так же, – проговорила она, – но все-таки получше. Перед тем как начать поправляться, она сделалась словно бы шестилетней. С куклами возилась. А когда однажды ей не досталось яблочного пирога, чуть слезами не изошла. Получилось так, словно она снова начала расти. Быстрее, чем в первый раз, но все равно пошла той же дорогой.

– Ты думаешь, что и он окажется таким же?

– Разве он не похож на двухлетку?

– Первый раз вижу двухлетнего малыша ростом в шесть футов.

Она фыркнула с наполовину деланым несогласием.

– Значит, будем воспитывать его как ребенка.

Муж притих на какое-то время и наконец спросил:

– А звать-то как будем?

– Только не Джеком! – встрепенулась она. Он согласно буркнул, не зная, что и сказать.

– Подумаем еще, – проговорила она, – у него ведь наверняка есть имя. Зачем ему новое?

Придется подождать. Он вернется и вспомнит его.

На сей раз Продд надолго задумался и когда вымолвил:

– Ма, надеюсь на то, что мы поступаем правильно, – оказалось, что жена к этому времени уже уснула.

А потом пошли чудеса. Продды называли их успехами и достижениями, однако это были подлинные чудеса.

Однажды Продд с трудом вытаскивал из амбара длинный брус сечения двенадцать на двенадцать, а с другого конца его подхватили две сильных руки. Однажды миссис Продд обнаружила, что ее пациент держит клубок пряжи. И внимательно смотрит на него только потому, что шерсть была красного цвета. В другой раз парень, заметив возле насоса полное ведро, занес воду в дом. Впрочем, орудовать рукояткой насоса он обучился не скоро.

Когда он прожил у них ровно год, миссис Продд припомнила эту дату и испекла пирог. Повинуясь какому-то порыву, она воткнула в него четыре свечи. Продды, сияя, глядели на своего подопечного, а он не отводил взгляда от четырех язычков пламени. Эти странные глаза вдруг притянули сперва ее, а потом и Продда.

– А ну, задуй-ка, сынок.

Быть может, он представил себе это действие. Быть может, это произошло под воздействием тепла, источавшегося пожилой парой, излучавшегося ими добра и заботы о нем. Он все понял и, нагнув голову, дунул. Смеясь от радости, они окружили его. Продд похлопал его по плечу, а миссис Продд поцеловала в щеку.

Что-то повернулось в нем. Глаза закатились, так что на мгновение видны были одни белки. Мерзлое горе растаяло и хлынуло потоком: он заплакал. Это не был тот зов, тот контакт, тот обмен чувствами, который он испытал с Эвелин. Между этими переживаниями не было ничего общего, кроме силы. Однако сила пришедшего к нему чувства заставила его ощутить собственную утрату и поступить точно так, как было в момент ее. Он зарыдал.

Такие же громкие рыдания год назад навели на него Продда в сумраке леса. Комната эта была слишком мала для того, чтобы вместить его слезы. Миссис Продд никогда еще не слышала подобного звука. Продд слышал – в ту первую ночь. И было трудно сказать, что хуже: слышать их впервые или во второй раз.

Обхватив руками его голову, миссис Продд принялась ворковать, утешая односложными звуками. Появившийся возле Продд нерешительно потянулся к его волосам, но потом передумал, ограничившись растерянным:

– Ну, ну... ну же.

Когда пришел срок, рыдания прекратились. Он озирался, хлюпая носом, что-то новое появилось в его лице. Словно исчезла бронзовая маска, которую обтягивала кожа лица.

– Прости, – сказал Продд. – Наверно, мы сделали что-то не так.

– Мы ничего плохого не сделали, – возразила жена. – Сам увидишь.

Он получил имя.

В тот вечер, рыдая, он осознал, что способен, если захочет, впитать мысль, послание тех, кто окружает его. Подобное случалось и прежде – налетало, как дуновение ветра, случалось столь же произвольно, как приходит чихание или дрожь. И он принялся вертеть и крутить перед собой это знание так, как некогда крутил клубок пряжи. Звуки, именуемые речью, пока ничего не значили для него, но он уже научился выделять слова, что были обращены к нему, отличая их от тех, которые его не касались. Он так и не научился слушать других: понятия сами собой вползали в его голову. Идеи сами по себе не имеют формы, они настолько неясны, что облекать их в слова он учился с большим трудом.

– Так как тебя звать-то? – однажды спросил его Продд. Они как раз переливали воду из цистерны в поилку, и вид искрящейся под лучами солнца струи заморозил идиота. Вопрос вырвал его из глубин созерцания. Подняв глаза, он встретился взглядом с Проддом.

Имя. Он потянулся, потребовал. И слово это вернулось к нему с тем, что можно было бы назвать определением. Но пришло оно в облике чистой идеи. «Имя» есть то единое, чем являюсь я, – все, что я делал, чем был и что узнал.

И все это было рядом, ожидая единого символа – имени. Все скитания, голод, потеря и то, что хуже потери... отсутствие. Явилось смутное и неопределенное понимание того, что даже здесь, у Проддов, он не является сущностью, но замещает какую-то сущность.

Все один.

Он попытался выразить, произнести эти слова. Концепцию и лексику он почерпнул у Продда, а заодно и произношение. Но понять – одно, осмыслить – другое, а физически выговорить звуки – третье. Окостенелый язык его шевельнулся сапожной подметкой, гортань задудела заржавелым свистком. Губы задергались.

– Всс, вс...

– Что, сынок?

Все один. Он сформулировал мысль ясно и четко, но выразить ее никак не мог.

– Вс-вс... о... один, – наконец выдавил он.

– Дин? – переспросил Продд.

Слог этот что-то говорил фермеру, он услышал в нем нечто знакомое, пусть и не то, что было в него вложено.

Идиот попытался повторить звук, но косный язык словно окаменел. Он отчаянно звал на помощь, просил подсказки...

– Дин, – повторил Продд.

Он кивнул в ответ: это было и первое его слово, и первый разговор – еще одно чудо.

Разговаривать он учился пять лет, но все же предпочитал обходиться без речи. А научиться читать так и не смог. У него не было для этого нужных средств.

Жили-были два мальчика, для которых запах хлорки на кафельных плитках был запахом ненависти.

Запах этот будил в душе Джерри Томпсона чувства голода и одиночества. Этот запах пропитывал даже пищу и сон – сыростью, холодом, страхом, всем, из чего рождается ненависть. Только ненависть рождала какое-то тепло в мире, только в ней можно было не сомневаться. Человеку нужно быть хотя бы в чем-то уверенным, особенно когда полагаться можно на что-то одно, а тем более когда тебе всего шесть лет. В свои шесть лет Джерри успел уже во многом сделаться мужчиной, во всяком случае, по-мужски привыкнуть к тому серенькому довольству, возникающему, когда у тебя ничего не болит и тебя никто не трогает. Со стороны терпение его казалось несокрушимым, как у тех целеустремленных людей, что выглядят рассеянными, пока не настанет время решать. Люди обычно не понимают, что в шесть лет память человека так же, как у всех остальных, простирается к началу жизни и так же полна подробностей и событий. И за свою жизнь Джерри повидал достаточно бедствий, достаточно утрат и болезней, чтобы стать мужчиной. В шесть он уже научился принимать судьбу, покоряться ей, ждать и надеяться. Его небольшая сморщенная физиономия изменилась, в голосе не было больше слышно протеста. Так он прожил еще два года и наконец решился.

Тогда он и убежал из сиротского дома: чтобы жить самому, прятаться среди сточных канав и мусора, убивать, когда загоняют в угол, и ненавидеть.

Ну а Гип не знал голода, холода и раннего взросления. Для него дезинфекция пахла одной только ненавистью. Запах этот окружал его отца, его ловкие и безжалостные руки врача, его скромную одежду. Гипу казалось, что даже голос доктора Бэрроуза источает запах карболки и хлорки.

Гип Бэрроуз был блестящим и прекрасным ребенком, только мир не захотел стать для него прямым коридором, выложенным стерильным кафелем. Все ему давалось легко, кроме власти над собственным любопытством, и «все» это подразумевало хладнокровные сеансы исправления, осуществлявшиеся отцом его, доктором, человеком успешным, человеком нравственным, человеком, построившим карьеру на собственной уверенности и правоте.

Уже с детства способности Гипа обещали развиваться быстро и ярко, словно взлетающая ракета, даровав ему все, о чем может мечтать мальчишка. Но воспитание вечно усматривало в подобной легкости нечто вроде кражи: дескать, все ему достается вовсе не по заслугам... Так повторял его отец, доктор: ведь он-то тяжким трудом добивался успеха. Посему таланты Гипа приносили ему друзей и почести, а дружбы и почести несли с собой неуверенность и болезненное смирение, о которых он даже не подозревал.

Свой первый радиоприемник Гип соорудил лет, кажется, в восемь. Детекторный, даже катушки для него он наматывал сам. Чтобы не заметили, Гип запрятал его между пружинами матраса, там же скрыл наушники, чтобы ночью можно было послушать. Но отец его, доктор, нашел тайник и немедленно запретил мальчику даже прикасаться ко всяким проволокам и проводам. Ну а в девять лет отец его, доктор, добрался до припрятанных учебников и журналов по радиоэлектронике и, свалив их в кучу перед камином, целый вечер торжественно сжигал книги одну за другой. В двенадцать Гип добился права учиться в техническом колледже – за тайно изготовленный осциллограф без электродной трубки. Отец его, доктор, сам продиктовал мальчику текст отказа. В пятнадцать лет Гипа с треском выгнали из медицинского колледжа – так блистательно он сумел перепутать переключатели в лифтах, а добавив несколько

поперечных связей, добился, чтобы всякая поездка заканчивалась в абсолютно непредсказуемом месте. В шестнадцать, к обоюдному удовольствию порвав с отцом, он уже зарабатывал на жизнь в исследовательской лаборатории и занимался в политехническом колледже.

Рослого и талантливого парня все знали – он просто рвался к известности и легко добился ее, как бывало всегда, когда он чего-то хотел. Над клавишами пианино руки его становились удивительно невесомыми, шахматные комбинации отличались изяществом и быстротой. Пришлось овладеть искусством проигрывать: за шахматной доской, на теннисном корте и в сложной игре, именуемой «первый в классе, первый в школе». Времени хватало на все: говорить, читать, удивляться, слушать тех, кто понимал его. И на то, чтобы перелагать иным слогом всякое педантичное занудство, непереносимое в оригинале. Нашлось время и для радарных систем, а раз так – он и попал на эту работу.

В ВВС жилось иначе, чем в гражданском колледже. Он не сразу уразумел, что полковника смирением не умиловить и не подкупить остроумием, как декана, властвующего над простыми смертными. Еще ему пришлось постигать, что на военной службе яркая речь, физическое совершенство и легкий успех считаются недостатками, а не достоинствами. И вдруг оказалось, что он остался один в большей степени, чем хотелось бы, и в стороне от всех остальных в большей степени, чем можно было перенести.

Свое успокоение, мечты и несчастье он обрел в службе дальнего обнаружения самолетов.

Алисия Кью стояла в глубочайшей тени у края лужайки.

– Отец, отец, прости меня! – простонала она, в муках опускаясь на траву, слепая от горя и ужаса, потрясенная, разодранная конфликтом.

– Прости меня, – со страстью прошептала она.

– Прости меня, – шепнула она с презрением.

Почему ты еще не умер, Старый Черт, подумала она. Пять лет назад ты убил себя, убил мою сестру, а я все еще твержу: прости меня. Садист, извращенец, убийца, дьявол... *мужчина*, грязный, полный яда *мужчина*.

– Я ушла далеко, – томила она, – я все там же... Как тогда я кинулась прочь от старого Джейкобса, доброго Джейкобса, адвоката, явившегося, чтобы помочь с телами. Ох, как я бежала тогда, чтобы не остаться наедине с ним, чтобы он не обезумел и не отравил меня. Потом он привел с собой жену, а я бежала и от нее – ведь женщины тоже злы... Не скоро я поняла, как добра, как терпелива была со мной матушка Джейкобс, сколько сделала она ради меня же самой. «Детка, таких платьев не носят уже лет сорок!» А потом, в автобусе, я визжала от страха и никак не могла умолкнуть. Кругом были люди, они все спешили. Тела, много тел, открытых взгляду и прикосновению, тела на улицах, лестницах, картинки с телами в журналах, а на них мужчины, а в их объятиях женщины, смеющиеся и абсолютно ничего не боящиеся... Доктор Ротштейн объяснял и объяснял мне, возвращался и снова объяснял: нет никакого ядовитого пота, и есть мужчины и женщины. Иначе не будет людей... Мне пришлось научиться всему этому, отец, черт ты мой дорогой, все из-за тебя! Ведь это из-за тебя я не знала ни автомобиля, ни собственной груди, ни газет, ни железной дороги, ни гигиенических пакетов, ни поцелуя, ни ресторана, ни лифта, ни купального костюма, ни волос на... ох, прости меня, отец!

Я больше не боюсь кнута, просто руки и глаза подводят меня, благодаря твоему усердию, отец. Но знай, настанет время, и я сумею жить среди этих людей, сумею ездить в их поездках, даже в собственном автомобиле. Тогда среди тысяч и тысяч я отправлюсь к морю, которое не знает предела, которое не оградишь частоколом, и я буду ходить там, как все остальные, и на теле моем останутся лишь две полоски из ткани, и все увидят мой пуп. Тогда я встречу белозубого парня, да-да, отец, парня, с налитыми силой руками. И я... ох, что будет со мной, какой я теперь стала, прости же, отец.

Я живу теперь в доме, которого ты не видел, окна глядят на дорогу, а по ней с ласковым шорохом проносятся яркие машины, и дети играют возле забора. Но забор – не железная ограда нашего дома, и дважды в день в нем открывают ворота: для деловых поездок и для прогулок. Всякий волен выйти наружу, и я уже могу глядеть сквозь занавески, а когда соберусь с духом – и на незнакомцев за окнами. В ванной комнате горит свет, а прямо напротив ванны – зеркало во весь рост. И однажды, отец, я выпущу полотенце из рук.

Все остальное будет потом: тогда я буду ходить среди незнакомцев и без страха ощущать их прикосновения. А пока время размышлений; быть одной и читать о мире и о трудах его, а еще о таких безумцах, каким был ты сам.

Доктор Ротштейн твердит, что таких, как ты, много, но ты был богат и мог жить, как хотел!

Эвелин...

Эвелин так и не узнала о том, что отец ее был безумен. Эвелин никогда не видала картинок, изображавших отравленную плоть. Я жила в ином мире, чем тот, который теперь окружает меня. Однако ее мир был в такой же мере иным, миром, который я и отец сотворили ради ее чистоты...

Интересно... хотелось бы понять, каким образом тебе хватило совести разнести выстрелом свои гнилые мозги...

Ей припомнился облик мертвого отца, и это почему-то успокоило ее. Алисия встала, глянула в сторону леса, старательно обозрела луг – тень за тенью, дерево за деревом.

– Хорошо, Эвелин, я сделаю, сделаю это...

Она глубоко вздохнула, задержала дыхание в груди. Потом зажмурилась – так, что чернота заалела. Руки сами собой пробежали по пуговицам, платье упало к ногам. Единым движением Алисия освободилась от белья и чулок. Шевельнулся воздух, и неопишным стало его прикосновение к телу. И, шагнув в луч солнца, со слезами ужаса, проступавшими сквозь стиснутые ресницы, закружилась в танце нагая, в память об Эвелин. И молила, молила отца о прощении.

Джейни было четыре года, когда она запустила пресс-папье в лейтенанта, руководствуясь неосознанным, но верным ощущением, – тому действительно нечего было болтаться в их доме, пока папа воевал за морем. Лейтенант получил трещину черепа и, как часто бывает при таких повреждениях, впоследствии так никогда и не смог вспомнить, что при этом Джейни находилась в десяти футах от брошенного ею предмета. За этот подвиг мать хорошенько проучила девочку. Трепку Джейни восприняла с обычной невозмутимостью. И присоединила к прочим обстоятельствам, указывающим на то, что лишенная контроля сила обладает собственными недостатками.

– От нее у меня самой мурашки по коже бегут, – говорила потом ее мать новому лейтенанту. – Я не переносу эту девчонку. Ты ведь не думаешь, что со мной что-то не так, раз я говорю такое, правда?

– Не думаю, – отвечал другой лейтенант, наперекор собственным мыслям. И она пригласила его зайти днем, вполне уверенная в том, что если он увидит ее дитяtko, то все поймет.

Он зашел и понял. Не ребенка. Ее-то как раз никто и не понимал, – понял он чувства матери. Джейни стояла прямехонько, подняв вверх лицо и расправив плечи. Широко расставив ноги, словно обутое в сапоги, она помахивала куклой, как стеком. Девочка держалась собранно, что в ее годы несколько необычно. Пожалуй, она была меньше, чем следовало бы в ее возрасте. Острые черты лица, узкие глаза, тяжелые надбровья. Пропорции ее тела также не были типичны для большинства четырехлеток, способных легко перегнуться в пояснице и достать лбом пол. Для этого торс ее был, пожалуй, излишне короткий, а ноги чересчур длинные.

Говорила она с милой четкостью и убийственным отсутствием такта. Лейтенант неуклюже присел и проговорил:

- Адски рад, Джейни. Будем друзьями?
- Нет. От тебя разит совсем как от майора Гренфелла.

Майор Гренфелл был непосредственным предшественником травмированного лейтенанта.

– Джейни! – с опозданием осадила девочку мать. И уже спокойнее добавила: – Ты прекрасно знаешь, что майор забежал к нам только для того, чтобы выпить коктейль.

Джейни оставила слова матери без ответа, взрослые смущенно молчали. Тот, второй лейтенант как-то разом вдруг понял, что сидеть на корточках в форме – дело дурацкое, и распрямился настолько поспешно, что задел сервировочный столик. Джейни с кровожадной улыбкой глядела на его трясущиеся руки, пока тот подбирал с пола осколки. Потом он быстро ушел и более не появлялся.

Теперь у матери Джейни оставался только один выход – брать числом. Вопреки строжайшему запрету, однажды вечером Джейни явилась как раз во время четвертого бокала гибсона¹ и замерла в конце гостиной, окинув оскорбительным взглядом серо-зеленых глаз разгоряченные лица. Пузатый светловолосый мужчина, державший руку на плечах ее матери, поднял свой бокал и выкрикнул:

- А вот и она, малышка Вимы!

Все находившиеся в комнате головы дружно повернулись на голос с одновременностью сервопереключателей, и в наступившей тишине Джейни произнесла:

- А у тебя...

– *Джейни!* – воскликнула мать. Кто-то расхохотался, и после того как смех умолк, девочка закончила: – Много жира...

Мужчина снял руку с плеч Вимы. Кто-то выкрикнул:

- Чего-чего, Джейни?

Согласно веяниям военного времени, Джейни добавила:

- Хоть на убой!

Вима оскалилась.

- Беги-ка в свою комнату, дорогая. Сейчас приду и уложу тебя.

Кто-то из гостей посмотрел на блондина и расхохотался. Кто-то громко шепнул:

- Се грядет воскресный бекон.

Никакой шнурок не мог бы заставить упитанного мужчину поджать губы в столь идеальный кружок, отчего нижняя губа его сделалась похожей на каплю клубничного джема, выжатого из сэндвича.

Джейни невозмутимо отправилась к двери и остановилась, оказавшись закрытой кем-то от глаз матери. Болезненного вида молодой человек, блеснув черными глазами, наклонился вперед. Джейни посмотрела ему в глаза. На лице молодого человека отразилось внутреннее возбуждение. Рука его дернулась вперед, вверх, наконец успокоилась на лбу. Потом соскользнула вниз и прикрыла черные глаза. Проговорив так, чтобы было слышно только ему:

- Больше не делай так, – девочка оставила комнату.
- Вима, – с внезапной хрипотцой произнес молодой человек, – эта девочка – телепат.
- Ерунда, – ответила Вима, все внимание которой было сосредоточено на надувшемся толстяке. – Все положенные витамины она получает каждый день.

Юноша попытался подняться на ноги, проводил взглядом ребенка, однако осел на свое место, промолвив:

- Боже, – и погрузился в мрачные раздумья.

¹ Гибсон – коктейль: сухое мартини с маринованной луковицей вместо маслины.

Когда Джейни исполнилось пять, она научилась играть с маленькими девочками. Они заметили это не сразу. Малышкам было года по два с половиной, и они были похожи как две капли воды. Разговоры близнецов, если они и впрямь говорили, складывались из тонкого визга. Девочки кувыркались на асфальте двора, словно на лужайке.

Сначала Джейни наблюдала за их игрой, перегнувшись через подоконник с высоты четырех с половиной этажей, и копила во рту слюну, пока не набирался подходящий заряд. Тогда она вытягивала шею, надувала щеки и выпускала его. Близняшки игнорировали подобную бомбардировку, когда пущенный сверху снаряд падал на асфальт, однако раздражались самым умоуриительным писком и визгом, если она попадала в цель. Им не приходило в голову посмотреть вверх, они просто носились в недоумении по двору.

А потом появилась другая игра. Когда наступили теплые дни, близняшки надумали выскакивать из своих комбинезончиков. Делали они это с молниеносной быстротой. Вот стоят две девочки-паиньки, и вдруг одна или обе оказываются футях в пятнадцати от свалившейся кучкой одежды. Потом, визжа и суетясь, они принимались забираться обратно в костюмчики, бросая при этом опасливые взгляды на подвальную дверь. Тогда-то Джейни и обнаружила, что, если хорошенько сосредоточиться, можно передвинуть костюмчик подальше. Забравшись на подоконник и выкатив глаза от усердия, она с увлечением предавалась новой забаве. Поначалу одежда лишь слегка шевелилась, словно от прикосновения внезапного ветерка. Но вскоре костюмчики начали ползть по асфальту плоскими крабами. Ей чрезвычайно нравилось, как верещат девчушки, догоняя свою одежку. Теперь они стали снимать комбинезончики с осторожностью, так что порой Джейни приходилось минут по сорок дожидаться подходящего момента. А иногда она затаивалась, и близнецы, голенькая и одетая, кругами ходили возле одного из костюмчиков, карауля его, как два котенка жука. И потом наносила удар: комбинезончик взлетал, малышки бросались в погоню и иногда немедленно ловили его, а иной раз она гоняла девчонок до тех пор, пока малышки не начинали пыхтеть, как маленькие паровички.

Джейни узнала причины особенного внимания, уделяемого ими подвальной двери, когда однажды вечером ей удалось поднять комбинезончики вверх, вместо того чтобы гонять по двору. Она надолго оставила девчонок в покое, так что они потеряли осторожность, вылезали из одежды, отходили от нее, возвращались обратно, словно бы задирая свою незримую противницу. Однако она все-таки ждала, и вот наконец оба костюмчика оказались вместе, в одной бело-розовой кучке. Тут она и нанесла свой удар. Комбинезончики взвились по крутой восходящей кривой и закончили свой путь на подоконнике второго этажа. Поскольку двор находился чуть ниже улицы, одежка оказалась футях в шести от земли, вне пределов досягаемости малышей. Тут Джейни и оставила ее.

Одна из малышей выбежала на середину двора и принялась в волнении подпрыгивать на месте, стараясь вытянуть шею и заглянуть повыше. Другая, наоборот, подбежала к стене под этим окном и насколько могла вытянула руки вверх, доставая крохотными ладошками только до кирпичей, находившихся в двадцати четырех дюймах под подоконником. Потом они бросились навстречу друг другу и тревожно защебетали. Через какое-то время они еще раз попробовали достать до подоконника, но уже вместе. Все чаще и чаще теперь они поглядывали на подвальную дверь, и к страху примешивалось все меньше и меньше удовольствия.

Наконец девчонки уселись на землю как можно дальше от двери, обнялись и замерли. Они постепенно притихли, щебет превратился сперва в чириканье, а потом в робкое воркованье, и наконец девочки умолкли совсем, превратившись в два сотканых из страха комочка.

Прошли, должно быть, часы – да что там, недели, – прежде чем Джейни услышала стук и увидела, как шевельнулась дверь. В ней появился привратник, как всегда, утомленный общением с бутылкой. Она ясно видела набрякшие красные полумесяцы под пожелтевшими белками глаз.

– Бони! – рывкнул он. – Бини! Где вы? – Шагнув вперед, он огляделся. – Куда подевались? Только поглядеть на них! Вот так номер! Куда штаны подевали?

Он спикировал на них и зажал в огромных кулаках по крошечной ручонке. Поднял обеих в воздух, так что девчонки могли касаться земли разве что одним пальчиком ног, а плененные локотки указывали в небо. Он обернулся, разыскивая взглядом комбинезончики, раз, другой, и наконец заметил их над своей головой.

– Как это вы умудрились? – потребовал он ответа. – Ишь ты, чего натворили! Надо же – бросаться такими дорогами штанами. Придется отшлепать.

Опустившись на одно колено, он пристроил оба детских тельца на бедре другой ноги. Вполне возможно, что он складывал чашечкой карающую ладонь, производя не столько боль, сколько звук, однако, тем не менее, шума вышло много. Джейни хихикнула.

Отпустив каждой из близняшек по четыре увесистых шлепка, он поставил малышей на ноги. Они молча смотрели, прикрывая ладошками попы, как отец подошел к подоконнику и снял с него комбинезончики. Бросив костюмчики к ногам дочерей, погрозил им пальцем правой руки:

– Только попробуйте устроить такую штуку еще раз, и я попрошу мистера Мильтона, который кондуктор, повесить вас за уши. Слышали?

Девочки прижались друг к другу, глядя на него круглыми глазами, привратник направился к двери и громко захлопнул ее за собой.

Близняшки неторопливо залезли в комбинезончики, отправились в тень стены и уселись на корточки, прижавшись к кирпичу спинами. Они что-то шептали. Никаких забав у Джейни в тот день уже не было.

Через улицу напротив дома Джейни располагался парк. Там стояла раковина для оркестра, протекал ручей, в проволочной клетке разгуливал облезлый фазан. А посреди парка росла густая рощица карликового дуба. Глубоко в чаще таилась полоска утоптанной земли, о которой знала одна только Джейни и еще тысяча с гаком попарно пользовавшихся ею по ночам персон. Однако Джейни ни по ночам, ни по вечерам там не бывала, а потому считала себя ее первооткрывательницей и хозяйкой.

Дня через четыре после эпизода со шлепками она вспомнила об этом уголке. Близнецы надоели Джейни, ничего интересного они больше не делали. Мать ее отправилась с кем-то обедать, заперев дочь в ее комнате. Увидев такое, один из дежурных поклонников спросил: «Вима, а как же девочка? Что, если случится пожар или еще что-нибудь в этом роде?» – «Дай-то бог», – отозвалась женщина.

Дверь в комнату дочери была заперта снаружи на крючок, Джейни подошла к двери и пристально поглядела в то место, где он находился. Легкое позвякивание возвестило о том, что крючок приподнялся и упал. Открыв дверь, девочка вышла в прихожую, из нее направилась к лифтам. Сама открылась дверца, Джейни вошла в кабину и нажала кнопки третьего, второго и первого этажей. Лифт опускался на этаж, останавливался, открывал дверцы, закрывал их, спускался снова, останавливался, открывал... Джейни следила за скольжением дверей, замороженная методичной повторяемостью их движения. Оказавшись внизу, она нажала все кнопки и выскочила из кабины. Глупый лифт послушно пополз вверх. Джейни снисходительно вздохнула и вышла на улицу.

Внимательно поглядев в обе стороны, она перешла дорогу. Но к рощице подходила отнюдь не чопорная леди. Она сразу полезла на дуб и, минуя развилки, поползла по ветви, которая, как ей было известно, нависала над ее укромным местечком. Ей почудилось, что внизу что-то движется. Девочка спустила ноги и принялась перебирать руками, пока ветка сильно не наклонилась, а затем выпустила ее из рук.

До земли оставалось всего восемь дюймов – обычно оставалось. Но на этот раз...

В тот самый миг, когда пальцы Джейни разомкнулись, ноги ее вдруг сами собой уехали назад, и девочка рухнула вниз. Она упала на землю животом. Руки ее сложились на уровне собственного живота; соприкосновение с землей развернуло их и вогнало ее кулак в солнечное сплетение. Невыразимо долгое время она не ощущала ничего, кроме слепящей боли. Она пыталась и пыталась преодолеть ее и наконец с трудом сделала первый вздох. Выдох оставил ее ноздри, но снова вздохнуть ей никак не удавалось. Всхлипывая, с шипением она пыталась сделать новый вдох, и боль отступила.

Наконец Джейни удалось опереться о землю локтями, и она сплюнула все, что накопилось во рту, то ли пыль, то ли грязь. Наконец приоткрыв глаза, Джейни увидела перед собой в считанных дюймах одну из близняшек.

– Хо-хо, – сказала та и резко дернула Джейни за запястье.

Джейни вновь зарылась в землю лицом. Инстинктивно подтянула колени. И немедленно заработала колючий удар по попе. Обернувшись, она заметила между деревьев вторую близняшку. Та сжимала крошечными лапками доску от ящика.

– Хи-хи, – поприветствовала близняшка свою знакомую.

Джейни сделала ей то же самое, что сделала болезненному и черноглазому молодому человеку на той пирушке.

– Иип, – ответила близняшка и исчезла, мелькнув в воздухе – так мелькает пущенная из пальцев апельсиновая косточка... Дощечка от ящика упала на землю. Схватив ее, Джейни нанесла удар. Вооружившись палкой, она развернулась для удара по голове той из них, что тянула ее за руки. Но ее орудие лишь попусту рассекло воздух. Перед Джейни никого не было.

Поскуливая, она поднялась на ноги, оказавшись в одиночестве в тени своего убежища. Она повернулась, повернулась еще раз. Рядом никого не было.

Что-то мягкое плюхнулось прямо на ее макушку. Мокрое, ощутила она, проведя рукой по волосам. Посмотрев наверх, она увидела, как летит вниз плевок другой близняшки. Он приземлился ей прямо на лоб.

– Хо-хо, – сказала одна из них.

– Хи-хи, – подтвердила вторая. Джейни оскалила зубы, в точности так, как делала это ее мать. Дощечка от ящика все еще оставалась в ее руке, и она изо всей силы метнула ее в своих обидчиц. Одна из близняшек даже не подумала шевельнуться, другая исчезла.

– Хо-хо, – так вот же она, на другой ветке! Джейни метнула в обеих такой заряд ненависти, какого не могла даже представить себе.

– Ууп, – сказала одна.

– Иип, – проговорила другая. А потом обе исчезли.

Стиснув зубы, Джейни подпрыгнула, уцепилась за ветку и полезла на дерево.

– Хо-хо, – слышалось издалека.

Она принялась озираться по сторонам, что-то заставило ее поглядеть через улицу.

Две крохотные фигурки парой горгулий сидели на стене, непринужденно болтая ногами. Помавав ей, обе исчезли.

Долго, вцепившись в ветку, она оставалась на дереве, а потом позволила себе соскользнуть к стволу и устроиться на ветке спиной к нему. Расстегнув пуговку на кармане, она достала из нее платок, хорошенько облизала его краешек, намочив, и короткими кошачьими движениями принялась стирать грязь с лица.

– Им же всего по три года, – сказала она себе с высоты собственных лет. И потом... значит, они прекрасно знали, кто двигал их костюмчики.

– Хо-хо... – проговорила она, не пряча более восхищения. Гнев угас. Еще четыре дня назад близнецы даже не могли достать до подоконника, были беспомощны перед наказанием. А теперь – гляди-ка.

Она спустилась с дерева и перешла через улицу. В вестибюле Джейни встала на цыпочки и нажала сияющую медную кнопку под табличкой «Привратник». Ожидая, она то носком, то пяткой переступала по узору кафеля под ногами.

– Кто трогал? Ты трогала? – Громовые раскаты заполнили округу.

Подойдя поближе, она сложила губы, как делала мать, когда мурлыкала в телефонную трубку.

– Мистер Уиддикомб, моя мать сказала, что я могу поиграть с вашими маленькими девочками.

– Она так сказала? Ну! – Сняв с головы круглую шляпу, привратник ударил ею о ладонь и снова надел. – Ну! Это хорошо... малышка, – и строгим тоном добавил: – А мать-то дома?

– О да, – ответила Джейни, прямо-таки сияя уверенностью.

– Тут подожди, – буркнул он и забухал ногами по подвальной лестнице.

На сей раз ждать пришлось минут десять. Близняшки, которых привратник вел за руки, глядели недоверчиво.

– И не разрешай им проказить. Смотри, чтобы обе были одеты. И то, вишь, одежда им нужна, как мартышкам в лесу. Идите, дурехи, – и не уходить никуда, не сказавшись.

Близнецы опасливо приближались. Она взяла обе ладошки. Девочки заглядывали ей в лицо. Джейни направилась к лифтам, и они последовали за ней. Привратник добродушно ухмылялся вслед.

С этого мгновения жизнь Джейни переменилась. Настало время слияния, время общения, время стремящихся навстречу чувств. Для своих лет Джейни знала просто невероятное множество слов, хотя по большей части ей приходилось молчать. Близнецы же не научились еще говорить. Оказалось, что их собственный словарик из писка и визга только сопровождал иной способ общения. Джейни заметила это, прикоснулась, – и вдруг открылось и хлынуло. Мать боялась и ненавидела ее. А отец всегда был какой-то отстраненной, далекой и сердитой сущностью... его вечно не было рядом, или же он кричал на мать или угрюмо замыкался в себе. К ней обращались, но с ней не разговаривали.

Здесь же всю лилась беседа, подробная, легкая, увлекательная. Без единого звука, только смех сопровождал ей. Они молчали, сидели на корточках, листали ее красивые книжки, а потом вдруг наступала очередь кукол. Джейни показала девочкам, как, сидя на ковре, доставать шоколадки из коробки в соседней комнате и как, не прикасаясь к подушке руками, подбросить ее к потолку. Им понравилось, но больше всего заинтересовали малышей краски и мольберт.

Общение было для них чем-то меняющимся и постоянным, сиюминутным и вечным. Каждое мгновение оказывалось неповторимым.

День скользил мимо тихо и плавно, как прибрежное дуновение, и столь же быстро. Когда наконец хлопнула дверь и послышался голос Вимы, близняшки все еще были у Джейни.

– Вот и хорошо, вот и прекрасно, самое время немного выпить. – Она сорвала шляпку, волосы рассыпались по плечам. Мужчина привлек ее к себе, сжал в объятиях, как видно, не рассчитав силу. Вима взвилась:

– У, дурак...

И тут она заметила трех девочек, выглядывавших из двери.

– Господи боже, – выговорила мать, – теперь она натащила полный дом негрятят!

– Они уже уходят домой, – решительным тоном проговорила Джейни. – Я сейчас отведу их.

– Ей-богу, Пит, – обратилась она к мужчине, – ей-богу, впервые вижу подобное в моем доме. Теперь ты подумаешь, что здесь всегда творится такое. Пит, я боюсь даже представить, что ты сейчас думаешь. Эй, немедленно гони их отсюда, – приказала она Джейни.

Джейни пошла к лифтам. Она глянула на Бони и Бини. Глазенки их округлились. Во рту Джейни сделалось сухо, как в пустыне, и ноги ее подгибались от страха. Погрузив близняшек в лифт, она нажала нижнюю кнопку, даже не попрощавшись с ними.

Она медленно вернулась в квартиру и затворила за собой дверь. Мать соскочила с колен мужчины и, стуча каблуками, бросилась к дочери. Зубы ее блестели, подбородок был влажен. Она занесла над девочкой когтистую лапу – не руку, не кулак – пятерню с острыми алыми когтями.

Что-то заскрежетало внутри Джейни, словно зубы о зубы. Она шла вперед, не останавливаясь. Сложив за спиной руки, она задрала вверх подбородок, чтобы встретить взгляд матери.

Голос Вимы смолк, его словно ветром сдуло. Она висела над пятилеткой, выставив когти, словно увенчанная кровавой пеной и готовая обрушиться волна.

Обойдя ее стороной, Джейни направилась в свою спальню и спокойно прикрыла за собой дверь.

Руки Вимы странным образом отбросило назад – так, словно бы они были обязаны следовать траектории собственного движения. Она не сразу обрела власть над ними, как и равновесие, и наконец голос. Зубы гостя коротко звякнули о бокал. Вима направилась к нему через комнату, опираясь на мебель, как на костыли и подпорки.

– Боже, – пробормотала она, – у меня самой от нее мурашки по телу...

– Веселенькое у тебя здесь местечко, – отозвался гость.

Джейни лежала в постели, ровная, гладкая и аккуратная, как круглая зубочистка. Ничто не проникнет внутрь, ничто не выйдет наружу; она не помнила, где и как отыскала такую оболочку, покрывавшую ее целиком. Но твердо знала: пока оболочка цела, ничего плохого с ней не случится.

Но если случится, послышался шепоток, ты переломилась.

Но если я не переломлюсь, ничего не случится, отвечала она.

Но если случится...

Ночные часы чернели, черные часы уходили в ночь.

Распахнулась дверь, вспыхнул свет.

– Он ушел. Теперь, детка, я с тобой разберусь. Убирайся отсюда! – Купальный халат Вимы задел за дверной косяк; развернувшись, она вылетела из комнаты.

Откинув одеяло, Джейни спустила ноги и, не вполне понимая причину, принялась одеваться. Надела платице из шотландки, колготки, туфельки с пряжками, фартучек с кружевными зайчиками. Завязки на кофточке напоминали пушистые короткие хвостики.

Вима сидела на кушетке и колотила по ней кулаком.

– Ты испортила весь мой празд... – она приложилась к бокалу на квадратной ножке, – ...здник, а стало быть, имеешь право узнать, что я праздновала. Ты этого не знала, однако у меня были большие неприятности, и я не знала, как с ними справиться. Но теперь все уладилось само собой. И теперь я все тебе расскажу, моя маленькая мисс Длинные Уши – Большой Рот, Умница моя. С твоим-то отцом я могла управиться в любое время, но что мне было делать с твоим ртом, который не закрывается ни днем ни ночью? Но теперь все в порядке, он не вернется. Гансы разобрались с ним без меня. – Она помахала желтым листком. – Умные девочки знают, что это такое, это называется телеграмма, и вот что она говорит, слушай: «С прискорбием извещаем, что ваш муж...» Пристрелили твоего отца, вот что это значит. А теперь мы с тобой будем жить так. Я делаю все, что хочу, а твой нос будет направлен в другую сторону. Не правда ли, хорошо я придумала?

Она повернулась, ожидая ответа. Но Джейни не было. Вима знала, что поиски напрасны, но что-то все же заставило ее броситься в прихожую, к шкафу, заглянуть на его верхнюю полку. Кроме елочных игрушек, там ничего не было, да и к тем не прикасались уже три года.

Вима в растерянности стояла посреди гостиной.

– Джейни? – шепнула она.

Она прикоснулась к щекам руками, откинула с них волосы. И, поворачиваясь на месте, все спрашивала:

– Что-то со мной происходит?

Продд говаривал: «Что хорошо с фермой, так это если хороший базар – будут деньги, если плохой – будет харч». Впрочем, в его собственном доме этот принцип не соблюдался: контакты с рынком были сведены к минимуму. До города ехать далеко, а что делать, если сломается зуб на конных граблях? Э, у нас остается рабочее большинство... а если еще пара отлетит... или восемь или двенадцать? А теперь зайдем с другого конца. Никакой дороги здесь никогда не будет, ферма не разрастется, с ней всегда можно будет управиться. Даже война прошла в стороне от них: Продд уже не годился в солдаты, а Дин – что ж, шериф однажды заехал к ним, посмотреть на полудурка, работающего на Продда, и одного взгляда ему вполне хватило.

Когда Продд был молод, на этом месте уже стояла небольшая ферма. Приведя в нее жену, он кое-что пристроил к дому – так, комнатенку. Теперь в ней спал Дин, однако это было не совсем то, ибо предназначалась она не для него.

Перемену Дин ощутил прежде, чем кто-либо другой, раньше самой миссис Продд. Вдруг ее молчание стало иным. Она исполнилась горделивого самосозерцания. И Дин ощущал в нем перемену – так меняется гордость человека, когда он обращается от своей любимой драгоценности к своему любимому зеленому побегу. Дин молчал и не делал никаких выводов, он просто знал.

Как и всегда, он принялся за работу. Руки его были умелыми, и Продд говаривал, что наверняка парень прежде работал на ферме, до того как с ним случилось несчастье. Говорил он эти слова, не зная того, что его собственный способ работы был доступен Дину, как вода из колодца. Как и все остальное, что Дин хотел взять.

В тот день, когда Продд спустился на южный луг, где Дин, шагавший и поворачивавшийся, словно превратившийся в часть шепчущей косы, уже знал, что тот хочет сказать. Поймав своими странными глазами на полмгновения взгляд Продда, он понял, что сказать то, что он хотел, тому будет нелегко.

С пониманием теперь у него не было никаких трудностей, сложности возникали с тонкостями выражения. Прекратив косить, он вышел на лесную опушку и уронил косу острием в подгнивший пенек. А потом попытался совладать со своим языком, все еще толстым и неуклюжим после восьми проведенных у Продда лет.

Продд медленно следовал за ним. Он также продумывал, что сказать.

Слова вдруг сами пришли к Дину.

– Я думал, – проговорил он и замолчал. Продд был рад отсрочке. Дин продолжил: – Я должен идти, – это было неточно, – идти дальше, – поправился он. Так уже лучше.

– Ну, Дин. Зачем... куда?

Тот поглядел на фермера. *Потому что ты сам этого хочешь.*

– Разве тебе плохо у нас? – произнес Продд, сам того не желая.

– Нет, – ответил Дин, прочитав мысли Продда: *Знает ли он?* Собственный разум ото-звался: *конечно, знаю*, – и вслух добавил: – Пришло время идти дальше.

– Хорошо. – Продд пнул камень. Повернулся, глянул в сторону дома, так чтобы не видеть Дина, и тому сразу сделалось легче. – Когда мы поселились здесь, мы построили комнату... Джекову, твою, если хочешь, ту, в которой ты живешь. Мы с Ма зовем ее комнатой Джека. А почему, знаешь?

Да, – подумал Дин.

– Ну раз ты... раз ты сам собрался от нас, все не так уж и важно. Джек – это наш сын. – Он стиснул кулаки. – Я понимаю, со стороны все это выглядит просто смешным. Джек... мы так были уверены в нем, даже отвели ему комнату. А он, Джек... – Продд вновь глянул на дом, на пристройку, на лес, охватывавший усадьбу зубастым кольцом, из которого кое-где выдавались клыки скал, – так и не родился.

– Ах, – протянул Дин, словцо это, полезное такое, он перенял у Продда.

– А теперь мы ждем его, – разом выдохнул Продд, лицо его просветлело. – Конечно, мы уже староваты, но я знавал папаш и постарше, мамочек тоже. – Он снова поглядел на дом, на амбар.

– Все-таки это справедливо, Дин. Припозднился он, да. Сейчас был бы взрослый, работал со мной. Когда он вырастет, ни меня, ни Ма, понятно, уже здесь не будет, вот он и приведет маленькую женушку и начнет все сначала, как мы. Ну разве не справедливо? – Голос его умолял, Дин не пытался понять его.

– Слышь, Дин, не думай, мы тебя не выставляем.

– Я же сказал, что ухажу. – Он искал и что-то нащупал и поправился. – Еще до того, как ты сказал мне. – *И это, подумал он, действительно так.*

– Вот что, я должен что-то тебе сказать, – проговорил Продд. – Вот, говорят, бывают такие люди, которые хотят детей и не получается у них, вот иногда они перестают надеяться и берут кого-то еще. И вот когда они уже кого-то взяли, вдруг оказывается, что у них получается собственное дите.

– Ах, – проговорил Дин.

– Вот я и хочу сказать, что мы тебя взяли, так ведь, и вот оно что вышло.

Дин не знал, что на это сказать. «Ах» – казалось совершенно не к месту.

– Мы должны за многое поблагодарить тебя, вот что я хочу тебе сказать, так чтобы ты не думал, что мы тебя выставляем.

– Я уже сказал.

– Ну и хорошо. – Продд улыбнулся. На лице его было много морщинок, в основном тех, которые бывают от улыбки.

– Хорошо, – отвечал Дин, – с Джеком ясно. – Он с неудовольствием кивнул. – Хорошо.

Он снова взял в руки косу, подойдя к незаконченному валку, он посмотрел в спину Продду. *Идет медленнее, чем обычно*, отметил он.

Наконец в голову Дина пришла разумная мысль: «Хорошо. С этим покончено». «С чем покончено?» – спросил он у себя самого.

И, оглядевшись, проговорил: «С косьюбой». И только тут осознал, что после разговора с Проддом проработал более трех часов, так, как если бы на поле работал вместо него кто-то другой. Сам он при этом в известном смысле – *отсутствовал*.

Рассеянно взяв брусок, он принялся править косу. Медленно проводя им вдоль лезвия, он извлекал из него бульканье кипятка, а если быстро – короткий предсмертный вопль земляной рыбки.

Откуда ему знакомо это ощущение уходящего времени – как бы куда-то за спину?

Он медленно водил по косе камнем. Пища, тепло и работа. Именинный пирог. Чистая постель. Чувство причастности. Он не знал этого мудреного слова, но он ощущал именно сопричастность.

Нет, исчезнувшего времени не было в этих воспоминаниях. Он задвигал бруском быстрее.

Из леса раздался предсмертный крик какого-то зверя. Одинок охотник, одинока и жертва. Капает живица, спит медведь, птицы улетают на юг... все это происходит одновременно, не только потому, что все они – часть единого целого, но потому, что все одиноки перед лицом одного и того же.

Так случалось там, где время проходило за пределами его ведения. Почти всегда до того, как он попал сюда. И так он теперь жил.

Но почему оно должно возвращаться к нему... теперь и тогда?

Дин окинул взглядом окрестности, как это делал Продд, вбирая дом, и неровный бугор, и поле, и чашу леса, ободком своим охватывавшую поле. Когда я был один, время всегда текло мимо меня. Теперь время снова течет мимо, а это значит, что я должен снова остаться один.

И тогда он понял, что всегда был один. Все это время миссис Продд воспитывала не его. Глаза Ма видели в нем Джека. Она воспитывала своего сына.

Там, в лесу, в воде и боли, он был частью чего-то, и это нечто было исторгнуто из него посреди влаги и муки. И если восемь лет полагал он, что нашел нечто такое, частью чего может считать себя, то восемь лет ошибался.

Гнев был ему чужд, он испытал его только однажды. И теперь гнев вдруг накатил, приливом, могучей волной, оставившей его слабым и беспомощным. И предметом внезапной ярости стал он сам. Разве не знал он об этом? Разве имя такое принял, не понимая, что в сути имени воплощается все, чем был он и что делал. *Один*. С чего это вдруг он возмечтал об иных ощущениях?

Неправильно. Неправильно это, как белка с перьями, как волк со вставной деревянной челюстью... Однако не сказать, чтобы несправедливо или нечестно, просто неправильно... неправильно-но, что под солнцем не может существовать... сама идея о том, что и таким, как он, можно принадлежать к чему-то.

Слышал, *сын*ок? Слышал, *парень*?

Слышал, Дин?

Подобрав три свежескошенных длинных стебля мятлика, он переплел их. Потом поднял косу вверх, глубоко воткнул ее в землю и прядкой травы примотал к рукоятке брусок – чтобы не свалился. И ушел в лес.

Было уже слишком поздно даже для полуночных обитателей рощицы. В кустах, у подножия остролиста, стало холодно и темно, как в сердце покойника.

Она сидела на голой земле. Шло время, она чуть съезжала вниз, юбочка понемногу задиралась вверх. Ноги заledenели, особенно там, где к ним прикасался холодный ночной воздух. Однако она не стала одергивать юбку, потому что это было неважно. Рука ее не выпускала пушистый помпончик на кофточке – часа два назад Джейни еще гладила его и думала: как это, наверное, интересно – стать зайкой. Но теперь ей было уже все равно, что там в кулачке – пуговичка или заячий хвост.

Она уже успела извлечь все, что могла, из своего пребывания здесь, она успела узнать, что если оставить глаза открытыми до тех пор, пока не моргнуть уже будет нельзя, но все-таки не моргнуть, то они начнут болеть. А если оставить их открытыми и после того, боль будет становиться все сильнее и сильнее. Но если перетерпеть и это, глаза вдруг перестанут болеть.

Здесь было слишком темно для того, чтобы можно было понять, будут ли глаза ее видеть после всего этого.

Кроме того, она узнала, что если долго-долго сидеть совсем неподвижно, то тебе тоже будет больно, а потом боль пройдет. Но тогда нельзя шевельнуться даже на чуть-чуть, потому что тогда боль вернется с еще большей силой.

Если раскрутить волчок, он встанет прямо, а потом начнет ходить по комнате. А когда он замедляет вращение, то замирает на одном месте и начинает кланяться во все стороны, ну как майор Гренелл после нескольких коктейлей. И уже останавливаясь, он ложится, дергается, ударяется об пол. И после этого уже не шелохнется.

Когда она была счастлива, когда общалась с девочками, тогда она была похожа на раскрученный волчок. Когда мать вернулась домой, волчок внутри нее более не ходил, но оста-

новился и начал колебаться. Когда мать выгнала ее из постели, он уже дергался и дрожал. А когда она укрылась в своем уголке, он уже постукивал краями по полу. Более он не крутился и крутиться не собирался.

Потом она решила попробовать, надолго ли сумеет задержать дыхание. Не так, чтобы набрать полную грудь воздуха и терпеть, но вдыхать все тише и тише, забыть *вдохнуть*... все тише и тише... забыть и про *выдох*. И теперь уже скорее не дышать, нежели дышать.

Ветер шелохнул ее юбку. Джейни смутно ощутила движение... далекое и незаметное, словно бы тоненькая подушка отгораживала ее ноги от этого движения.

Волчок внутри нее уже катался по полу ребром, все медленнее, медленнее и наконец остановился.

...и медленно повернулся в обратную сторону... небыстро, недалеко... и остановился.

Но она покатила сама, перекатилась на живот, потом на спину, и боль стиснула ноздри, забурлила в желудке содовой водой. Она задыхалась от боли, и спазмы эти были дыханием, а Джейни все дышала и наконец вспомнила себя. Она повернулась еще раз, и по лицу ее забегали какие-то крохотные зверьки. Они были реальны, она их ощущала. Зверьки прищепывали и ворковали. Джейни попыталась сесть, зверюшки забежали за спину, чтобы помочь. Голова ее упала на грудь, и она ощутила кожей теплоту собственного дыхания. Один из зверьков погладил ее по щеке. Протянув ладошку, она поймала его.

– Хо-хо, – проговорил зверек.

Нечто мягкое, крепкое и маленькое копошилось под другим ее боком, прижималось к телу. Гладкое и живое. И приговаривало: «хи-хи».

Обняв одной рукой Бони, а другой Бини, она зарыдала.

Дин вернулся, чтобы взять займы топор. Голыми руками ничего не сделаешь. Выбравшись из чащи, он заметил, как переменялась ферма. Прежде здесь каждый день был сумеречным, а тут ее словно вдруг озарило солнце. Цвета стали ярче, а запахи – дыма, травы и амбара – сильнее и чище. Кукуруза устремила навстречу солнцу, да так, что страшно становилось за ее корни.

Достопочтенный пикап Продда пыхтел и подвывал у подножия склона. Следуя меже, Дин спустился вниз и наконец увидел автомобиль. Машина гудела на оставленном под паром поле, которое Продд явно решил вспахать. К грузовичку был прицеплен навесной плуг с несколькими лемехами, кроме одного. Правое заднее колесо соскользнуло в борозду, так что грузовичок сидел на задней оси. Продд подпихивал под колесо камни, орудуя рукоятью мотыги. Заметив Дина, он отбросил ее и рванулся навстречу, засияв, словно медный таз. Взяв Дина за плечи, Продд долгим взором оглядел его лицо, читая его, как книгу, – не торопясь, по строчке, шевеля губами.

– Боже, а я уже и не думал увидеть тебя, ты ушел так неожиданно.

– Тебе нужна помощь, – проговорил Дин, имея в виду грузовик.

Продд не понял.

– Ну не знаю, – радостно отвечал он. – Ты вернулся, чтобы посмотреть, не нужна ли мне помощь? Ох, Дин, поверь, я прекрасно справлюсь и сам. Ты не думай, я ценю тебя. Просто последнее время у меня такое настроение. Столько дел, я хочу сказать.

Дин подошел к мотыге, поднял ее и сказал:

– Садись за руль.

– Обожди, чтобы Ма увидела, – проговорил Продд, – все как в прежние времена. – Усевшись за руль, он нажал на педаль. Упершись спиной в кузов грузовичка, Дин взялся снизу за край его обеими руками и потянул. Кузов поднялся, насколько пускали рессоры, а потом и выше. Дин откинулся назад. Колесо обрело опору, и грузовик дернулся вверх и вперед – на твердую землю.

Выбравшись из кабины, Продд вернулся, чтобы заглянуть в рытвину, совершая ненужный и бессмысленный поступок, свойственный человеку, собирающему вместе куски разбитой фарфоровой чашки.

– Раньше-то я думал, что ты прежде был фермером, – ухмыльнулся он. – Но теперь дудки, не проведешь, домкратом ты был, вот что!

Дин не улыбнулся в ответ. Он никогда не улыбался. Продд направился к плугу. Дин помог ему навесить петлю на крюк грузовика.

– Лошадь пала, – пояснил Продд. – Грузовик-то ничего, только иногда по полдня откапываю колеса. Надо бы завести другую лошадь. Да вот решил подождать, пока Джек явится к нам. Сам понимаешь, какая для меня потеря... лошадь-то. – Поглядев в сторону дома, он улыбнулся. – Но теперь меня ничто не волнует. Завтракал?

– Да.

– Значит, добавишь. Сам знаешь, Ма ни тебе, ни мне не простит, если уйдешь голодным.

Они вернулись в дом, и, заведя Дина, Ма крепко обняла его. В его груди что-то неуютно шевельнулось. Ему нужен был только топор. Он думал, что все эти взаимоотношения уже улажены.

– Садись же, и я сейчас принесу вам поесть.

– Ну говорил я тебе, – сказал Продд, посмотрев на жену с улыбкой. Она заметно отяжелела, но была счастлива, как котенок в коровнике.

– Чем сейчас занимаешься, Дин?

Дин посмотрел Продду в глаза и отыскивал в них нечто вроде ответа.

– Работаю, – отвечал он и указал рукой: – Там, повыше.

– В лесу?

– Да.

– И что же ты делаешь? – Дин выжидал, и Продд спросил: – Ты нанялся к кому-то еще? Нет? Так, значит, охотишься?

– Охочусь, – ответил Дин, зная, что одного слова будет достаточно.

Дин ел. И со своего места видел комнату Джека, прежняя кровать исчезла. На ее месте появилась новая, коротенькая, чуть длиннее его руки, укрытая голубым шерстяным одеялом и кисеей со множеством мелких складок.

Когда он закончил есть, все трое посидели еще за столом, не говоря ни слова. Дин заглянул в глаза Продда и прочел в них: *он хороший парень, но не из тех, кого хочется иметь соседом и ходить к нему с визитом*. Он не вполне понял образ *визита*: нечеткое и расплывчатое пятно звуков, разговора и смеха. Признав в этом понятии очередной случай недоступного для себя – именно недоступного, хотя и вполне постижимого, того, что он не может делать сейчас и не сможет никогда, – Дин ушел, попросив у Продда топор.

– Как ты думаешь, он не в обиде на нас? – беспокойно глянула в спину Дина миссис Продд.

– Он-то? – переспросил Продд. – Он не вернется сюда, даже если его упрашивать. Я, по совести, все время этого опасался. – Он подошел к двери. – Слышь-ка, не берись за тяжести.

Джейни читала – медленно и разборчиво, чтобы близнецы поняли. Ей не нужно было читать громко, только разборчиво. Она дошла до того места, где женщина привязала мужчину к столбу и выпустила другого мужчину, «моего соперника, ее счастливого любовника», из шкафа и дала ему в руки кнут. Оторвавшись в этом месте от текста, она заметила, что Бони нет, а Бини сидит в холодном камине, изображая мышку, спрятавшуюся в золе.

– Ага, ты не слушаешь, – проговорила она.

Хочу ту, которая с картинками, пришел безмолвный ответ.

– Эта мне уже надоела, – задиристым тоном ответила Джейни, однако все же отложила *Венеру в Мехах* фон Захер-Мазоха.

– В этой хотя бы есть какой-то сюжет, – пожаловалась она, подходя к полкам. Отыскав нужный томик между детективом *Мой револьвер быстр* и *Айвен Блох*² с иллюстрациями, она вернулась с ним в кресло. Бонни исчезла из камина и появилась рядом с креслом. Бини стояла по другую сторону. Где бы она только что ни обреталась, но явно была в курсе происходящего. И уж во всяком случае, она любила эту книгу больше, чем Бони.

Джейни распахнула книжку наугад. Близнецы, выкатив глазенки, наклонились вперед.

Читай!

– Ну ладно, – сказала Джейни. – ...D₃₄₅₅₆. Раздвижная портьера. С двойными сборками. Длина 90 дюймов. Цвета: бледно-желтый, красный, темно-зеленый с желтоватым отливом и белый. Цена 24,68 доллара. D₃₄₅₅₇. Деревенский стиль. Плед Стюартов или Аргайлов, см илл. 4,92 доллара за пару. D₃₄...

И они снова были счастливы.

Счастливы они были с того времени, как попали сюда, и в предшествовавшее этому лихорадочное время. Они научились открывать заднюю дверь трейлера, зарываться в сено и неподвижно лежать под ним. Джейни умела снимать прищепки с веревки, а близнецы научились возникать в комнате, к примеру, в магазине ночью, и отпирать изнутри такую дверь, которая была заперта на замок, непосильный для Джейни, умевшей справляться только с крючками и засовами. Впрочем, лучше всего у них получалось отвлекать внимание тех, кто начинал преследовать Джейни. Таковые быстро убеждались в том, что присутствие двух мелких девиц, швырявших в них камни с высоты второго этажа либо вдруг цепляющихся за ноги, а то еще оказывающихся у них на плечах и увлажняющих им рубашки и воротники, не позволяет им поймать Джейни, удалявшуюся на двух ногах. *Хо-хо*.

Дом стал для них самым радостным открытием среди всех прочих. Стоял он в несчетных милях от соседей, никто и никогда к нему не подходил. Этот большой дом возвышался на холме посреди дремучего леса, и почти никто не знал о его существовании. От дороги его ограждала высокая стена, а от леса – высокий забор, под которым протекал ручей. Бони открыла этот дом случайно, когда все устали и решили поспать у дороги. Она проснулась первой, отправилась на разведку и увидела забор, он-то и привел ее к дому. Им пришлось затратить уйму времени, чтобы найти лазейку для Джейни, пока Бини не свалилась в ручеек там, где он подтекал под забор, и не вынырнула из него с другой стороны.

В самой большой комнате была тьма-тьмущая книг, нашлась и уйма старых одеял, в которые можно было закутаться, когда становилось холодно. В темном холодном погребе обнаружилось с полдюжины коробок овощных консервов и несколько бутылок вина, которые они потом разбили, так как вино показалось им скверным на вкус, однако пахло просто восхитительно. Возле дома серебрился пруд, купаться в нем было куда интересней, чем в ваннах, почему-то лишенных окон. Было где играть в прятки. Нашлась даже комнатка с зарешеченными окнами и цепями, прикованными к стене.

С топором дело шло много проще.

Он никогда не отыскал бы это место, если бы не поранился. За все проведенные в скитаниях по лесу годы, часто вслепую и наугад, Дин ни разу не попадал в подобную ловушку. Он только что переступил какую-то вершинку и сразу же полетел вниз на двадцать футов – на покрытое хворостом и засыпанное гнильем дно. При падении он повредил один глаз, и левая рука его нестерпимо болела возле локтя. Выбравшись на свободу, он обозрел местность. Возможно, когда-то кто-то устроил здесь пруд – с невысокой и непрочной нижней стенкой. Теперь вода ушла, оставив углубление в склоне холма, густо заросшее внутри кустарником, еще плот-

² Айвен Блох (1872–1922) – немецкий врач, дерматолог, венеролог и сексолог.

нее закрывавшим вход с обеих сторон. Камень, с которого он слетел, выступал из склона и нависал над выемкой.

Прежде Дина нисколько не волновало – есть возле него люди или нет. Теперь он хотел только одного: быть таким, каким требовала его внутренняя суть – то есть одиночкой. Но за восемь лет, проведенных на ферме, Дин успел отвыкнуть от жизни лесного зверя. Ему необходимо было укрытие. И чем дольше он смотрел на это укромное место с каменным потолком и двумя земляными стенами, тем больше оно казалось ему похожим на искомое укрытие.

Сначала он ограничился несложными мерами: вырубил и выкорчевал кусты, чтобы можно было удобно улечься, и подвязал пару колючих кустов при входе, чтобы тернии не задевали его при входе и выходе. Потом начались дожди, ему пришлось выкопать сточную канавку, чтобы в убежище не застаивалась вода, и соорудить над головой что-то похожее на крышу.

Но время шло, и он все более увлекался благоустройством своего жилья. Натаскал веток, засыпал их землей и хорошо утоптал – получился ровный пол. Вытащив из задней стенки шаткие камни, он увидел, что оставшиеся после них выемки могут послужить в качестве полок, на которых можно было разместить все его скудные пожитки.

Ночами он наведывался на фермы, широким кольцом окружавшие гору. Много за один раз он не уносил и никогда не возвращался туда, где уже побывал. Он раздобыл морковь, картошку, десятипенсовые гвозди и медную проволоку, сломанный молоток и чугунок. Однажды Дин подобрал кусок свинины, свалившийся с повозки, и припрятал его. А вернувшись после следующей вылазки, обнаружил, что в гостях у него побывала рысь. Этот случай навел его на мысли о стенах, потому-то он и вернулся за топором.

Он валил деревья – такие, какие мог доволочь до своего жилья, предварительно обрубив ветки. Первые три он вкопал так, чтобы они ограничивали собой пол, четвертая стена его дома находилась под камнем. Потом отыскал красную глину, которая, если замесить с торфяным мхом, образовывала замазку, не пропускавшую мышей и насекомых и не смывавшуюся. Наконец поставил стены и сделал дверь. Сооружением окна Дин не стал себя утруждать, просто оставил по узкой полосе между столбами, служившими ему стенами, и вытесал клинья, которыми можно было их затыкать.

Свой первый очаг он устроил в индейском стиле: посередине своего жилья под отверстием в крыше, чтобы выходил дым. Рядом вбил крючья в камень – чтобы подвешивать мясо, если ему повезет на охоте.

Он как раз подыскивал недостающие камни для очага, когда нечто невидимое коснулось его. Он дернулся, словно от ожога, и спрятался за деревом, как затравленный лось.

Прошло уже много времени с той поры, когда он в последний раз ощущал свою внутреннюю, ненужную теперь ему чуткость к общению с младенцами. Он терял ее, терял с той поры, когда научился говорить.

Но теперь кто-то звал его, звал, словно младенец, хотя не был младенцем. Дальний клич был едва различим, но невыразимо знаком... Сладостный зов тем не менее нес в себе память об обжигающем кнуте, сокрушительных пинках, непристойных ругательствах и горчайшей в его жизни утрате.

Ничего поблизости не обнаружив, он медленно выбрался из-за дерева и возвратился к камню, который перед этим раскачивал. Еще с полчаса он отрешенно трудился, не позволяя себе прислушаться к зову. Но что-то настойчиво влекло его.

Он поднялся, словно сомнамбула, и пошел на зов. Чем дальше он уходил, тем решительнее становился призыв и тем более властной становилась его сила. Так Дин шел целый час, шел прямо, не сворачивая, не огибая препятствий, переступая через валуны и поваленные деревья, продираясь сквозь чащу. Выйдя на отравленную прогалину, Дин почти что впал в транс. Позволить себе вернуться в сознание значило пробудить такую адскую драму, на которую у

него не было сил. Не глядя под ноги и спотыкаясь, он буквально уперся лбом в ржавый забор, задев при этом пораненный глаз. Он припал к забору головой, пока зрение его не прояснилось, огляделся по сторонам и задрожал всем телом.

На миг им овладела твердая решимость – немедленно покинуть это страшное место. Но тут он услышал голос ручья...

Там, где вода уходила под забор, он нагнулся, отыскивая ту самую брешь. Ничто не изменилось.

Дин попытался заглянуть в щель, но мощные заросли остролиста сделались еще гуще. До него не доносилось ни звука... Только призрачный зов... Он был испуганным, встревоженным, молил о помощи.

Подобно тому, который он слышал прежде, в зове этом мешались голод, одиночество и нужда. Отличие заключалось в том, чего хотел этот зов. Он без всяких слов говорил, что слегка испуган, озабочен и полон ответственности. По сути дела, он твердил: *кто же теперь будет заботиться обо мне?*

Может быть, холодная вода помогла. Разум Дина вдруг сделался ясным, как никогда прежде. Глубоко вдохнув, он нырнул и оказался по ту сторону забора. Выставил голову, старательно прислушался, снова погрузился в воду до носа. И бесшумно пополз на локтях, пока голова его не оказалась в арке, и он наконец увидел...

На берегу сидела маленькая девочка лет шести в порванном платье из шотландки. Заостренное, недетское лицо осунулось от забот. Осторожность его оказалась напрасной: девочка глядела прямо на него.

– Бони! – резко выкрикнула она.

Ничего не произошло.

Он остановился, а она следила за ним, все еще с беспокойством. Он понял природу этого зова: тревога. И все же девочка не сочла его появление достаточно важной причиной, чтобы отвлечься от своих мыслей.

Впервые в жизни он ощутил прилив гнева и разочарования. Впрочем, ощущение сменилось волной облегчения, как будто он сбросил с плеч сорокафунтовый рюкзак, пронесив его сорок лет. Он не знал, не догадывался о тяжести, лежавшей на собственных его плечах.

И ушло прочь это воспоминание. Назад в прошлое отправились хлыст, вопли, чары и так и не забытая потеря... назад, туда, где было им самое место, вместе со всеми разорванными нервными волокнами, так чтобы они никогда не смогли заново протянуться в его настоящее. В зове этом не было водоворота крови и эмоций – пустые причитания голодного ребенка. Подобно огромному плоскому раку, Дин попятился назад под забор. Выбравшись из ручья, он повернулся спиной к зову и вернулся к своей работе.

Он возвращался в свое убежище, обливаясь потом под тяжестью восемнадцатидюймовой каменной плиты на плече, и от усталости забыл о привычной осторожности. Проломившись сквозь кусты на крохотную прогалину перед своей дверью, он остолбенел.

Прямо перед ним сидела на корточках голенькая малышка лет четырех.

Она подняла глаза, и в глазах ее – что там – по всему темному лицу запрыгали веселые искорки.

– Хи-хи! – радостно зазвенела она.

Он нагнул плечо и дал камню съехать на землю.

Девочка совсем ничего не боялась. Она опустила глаза и вернулась к своему занятию: по-заячьи захрустела морковкой.

Мелькнувшая тень привлекла его внимание. Из щели между бревнами выползла еще одна морковка, за ней последовала третья.

– Хо-хо. – Он глянул вниз, перед ним сидели уже две маленькие девочки.

По сравнению с прочими людьми в данной ситуации Дин имел весьма важное преимущество: сомнения в здравии собственного рассудка не могли прийти ему в голову. Нагнувшись, он поднял одну из малышек, но не успел распрямиться, как девочка исчезла прямо из его рук.

Другая оставалась на месте. Обворожительно улыбнувшись, она запустила зубы в новую морковку.

Дин спросил ее:

– Что делаешь?

Голос его был неверен и груб, как у глухонемого. Это испугало ребенка. Девочка перестала есть и с открытым ртом уставилась на него. Открытый рот ее был полон жеваной морковки, отчего малышка сделалась похожей на пузатую печурку с открытой дверцей.

Дин опустил на колени, не зная, почему он настолько осторожен. Девочка глядела ему прямо в глаза, в те самые глаза, что некогда приказали человеку убить себя, те самые, что много раз безмолвно заставляли встречных кормить его. Он не чувствовал ни гнева, ни страха, им владело только одно желание – чтобы она посидела на месте.

Наконец он потянулся к ней. Девочка шумно вздохнула, обдав его лицо брызгами слюны и частичками морковки, и тут же исчезла.

Дин был переполнен удивлением – чувством, совершенно чужим ему, так как его вообще редко интересовало что-либо, а тем более в такой степени, чтобы удивить. Но еще более странным было то, что удивление это оказалось почтительным. Поднявшись, он припал спиной к бревенчатой стене и поискал их взглядом. Теперь девочки стояли рядом, держались за руки и смотрели на него, словно оцепенев, как бы ожидая, что он сделает что-нибудь еще.

Однажды, годы назад, он догнал оленя. Однажды, потянувшись, он словил птицу на верхушке дерева. Однажды поймал форель в реке.

Однажды.

Дин просто был устроен так, что не мог гоняться за тем, что по своему опыту поймать не мог. Нагнувшись, он поднял на плечо свою каменную плиту, уперся в задвижку, на которую закрывал дверь, плечом отодвинул ее и вошел внутрь.

Опустив плиту возле огня, он замел на нее рдеющие угольки, положил на них дрова, раздул огонь, положил на зеленую перекладину и подвесил к ней жестяной котелок. И все это время из дверного проема за ним наблюдали две пары глаз на черных мордашках. Дин не обращал на них внимания.

Освеженный кролик висел на крюке возле дымохода. Дин снял его, оборвал четыре ноги, переломил хребет и бросил все в котелок. Достал из ниши в стене несколько картофеля и крупных зерен каменной соли, которая немедленно отправилась в котелок вместе с картофелинами, разрезанными им пополам о лезвие топора. Потом протянул руку за морковью. Однако ее не оказалось на месте.

Дин повернулся и, хмурясь, посмотрел в сторону двери. Две головенки немедленно исчезли из вида. Из-за двери слышалось тоненькое хихиканье.

Дин оставил котелок на огне на час, а сам в это время старательно точил топор и вязал метлу, как у миссис Продд. Тем временем буквально по доле дюйма обе его гостьи продвигались к очагу. Взгляды их были прикованы к котелку, а по подбородкам уже текли слюнки.

Он занимался своими делами, не обращая внимания на них. Когда он приближался к ним, обе отступали, а когда пересекал свою хижину, входили снова, опять же продвигаясь по чуть-чуть, по доле дюйма. Вскоре оказалось, что отступают они совсем на немного, а вот приближаются полными шагами, и наконец Дин получил возможность захлопнуть дверь – что он и сделал.

Во внезапно наступившей темноте бульканье в котелке и легкое шипение пламени вдруг сделались очень громкими. Других звуков не было слышно. Привалившись спиной к двери, Дин крепко зажмурил глаза, чтобы они скорее привыкли к темноте. А когда он открыл их,

оказалось что лучей, пробивавшихся сквозь вентиляционные щели, и отсветов очага вполне достаточно для того, чтобы видеть все, находящееся в помещении.

Малышек в нем не было.

Заложив внутреннюю задвижку, он неторопливо обошел свой дом. Никого.

Потом он осторожно приоткрыл дверь, распахнул ее настежь. Снаружи тоже никого.

Он пожал плечами, закусил нижнюю губу и пожалел о том, что не взял побольше морковок. А потом отставил котелок в сторону стыть, так чтобы можно было приступить к еде, и стал заканчивать с процессом заточки топора.

Наконец он начал есть. И уже готов был облизать на десерт кончики своих пальцев, когда резкий стук в дверь заставил его буквально подскочить на месте, настолько неожиданным был здесь подобный звук.

В дверном проеме стояла девочка в платице из шотландки. Волосы причесаны, лицо умыто. С изящной непринужденностью она держала в руках предмет, издали казавшийся дамской сумочкой, но, приглядевшись, в нем нетрудно было признать тиковый ящичек из-под сигарет, к которому четырехдюймовыми гвоздями вместо ручки была приколочена тесемка.

– Добрый вечер, – вежливо проговорила она, – я проходила мимо и решила заглянуть. Значит, вы дома?

Юная, но вконец обнищавшая светская дама, пытающаяся прокормиться визитами, казалась чистой пародией, впрочем, абсолютно непонятной для Дина. И он продолжил облизывать пальцы, не отводя глаз от лица девочки. За ее спиной из-за краешка двери вдруг вынырнули головки обеих темнокожих девчушек.

Ноздри и глаза девочки были обращены к горшку с варевом. Она буквально пожирала его глазами. Потом вдруг зевнула и самым благовоспитанным тоном промолвила:

– Прошу прощения.

А затем откинула крышку ящика для сигарет, достала из него белую тряпочку, быстро сложила ее, но все же не настолько, чтобы нельзя было понять, что это мужской носок, и промокнула ею губы.

Встав с места, Дин поднял полено, осторожно уложил его в очаг и вновь сел. Девочка сделала шаг вперед. Две другие последовали за нею и парой оловянных солдатиков на карауле замерли возле двери. Их лица выражали ожидание. Теперь девочки были одеты. На одной были полотняные дамские штанишки, каких свет не видел с тех пор, когда у автомобилей не было баранки. Они доходили ей до подмышек и удерживались в таком положении парой коротких полосок из того же самого мохнатого шнура, продетыми на уровне груди в дырки и заменявшими собой помочи. На второй красовался тяжелый шерстяной фартук, во всяком случае, верхняя треть его, обрезанная на уровне лодыжек неровной и растрепанной бахромой.

В точной манере дамы, шествующей через комнату к коробке с конфетами, белая девочка приблизилась к котелку и, бросив Дину крохотную улыбку, спросила, потупив глаза и протянув к котелку большой и указательный пальцы:

– Можно мне попробовать?..

Выпрямив ногу, Дин подгрел котелок поближе к себе. Поставил сбоку, подальше от девочки, и устремил на нее остановившийся взгляд.

– Ты – вонючий сукин сын, – процитировала кого-то девчонка.

Дину эти слова тоже ничего не говорили. Прежде чем он научился обращать внимание на подобные слова, они не имели для него ни малейшего смысла. Ну а после ему не приходилось их слышать. Он пустыми глазами смотрел на девочку, не забывая придерживать котелок.

Глаза госты сузились, лицо покраснело. Она вдруг заплакала.

– Ну пожалуйста, я голодна. *Мы* хотим есть. Мы съели все, что было в банках. – Голос ее упал, и она прошептала: – Пожалуйста, я прошу тебя, а?

Дин невозмутимо внимал этим словам. Наконец она робко шагнула к нему. Он поднял теплый котелок к себе на колени и обнял его.

Девочка проговорила:

– Ну и ладно, я и не хотела твоего тухлого... – На этом слове голос ее дрогнул. Она повернулась и направилась к двери. Две подружки внимательно глядели на нее. Лица их выражали безмолвное разочарование, и несчастные мордашки ранили Джейни куда больше, чем его безучастный взгляд. Она, добытчица, подвела их, и они не скрывали обиды.

Он сидел с теплым горшком на коленях, глядел через дверь в сгущающиеся сумерки. Перед внутренним взором его вдруг предстала миссис Продд с дымящейся сковородкой. Куски ветчины перемежались желтыми глазками яичницы; она приговаривала: «Садись-ка, садись, поужинай». Чувство, которому он не знал имени, перехватило горло, протянувшись откуда-то из солнечного сплетения.

Шмыгнув носом, он потянулся к чугунку, выловил из него половину картофелины и уже нацелил на нее рот. Но рука не слушалась. Медленно склонив голову, Дин поглядел на картофелину, словно бы не узнавая, что это такое и зачем существует.

Охнув, он выронил картофелину в чугунок, гулко поставил его на пол и вскочил на ноги.

Упершись руками в дверной косяк, он хриплым невыразительным голосом выдал:

– *Погодите!*

Кукурузу давно уже следовало убрать, но она еще стояла в поле. То тут, то там желтели переломленные стебли, разведчики-муравьи оглядывали их и разбегались, разнося слухи. На другом поле застрял повалившийся набок грузовик, из прикрепленной позади него съехавшей набок сеялки сыпалась озимая пшеница. Не было видно дымка над трубой фермы, и лишь покосившаяся амбарная дверь гулко аплодировала, злорадно приветствуя несчастье.

Дин подошел к дому, поднялся на приступку. Продд сидел на качелях, которые не качались, потому что порвались цепи. Глаза его закрытыми не были, впрочем, они были скорее прикрыты, чем открыты.

– Привет, – проговорил Дин.

Продд шевельнулся, поглядел Дину в лицо, не обнаружив никаких признаков узнавания. Потом опустил взгляд, подвинулся назад, чтобы распрямиться, и принялся бесцельно ощупывать грудь, нашел подтяжки, потянул, отпустил. По лицу его пробежало полное тревоги выражение и скрылось. Он вновь посмотрел на Дина, ощущавшего, как сознание возвращается к фермеру – как кофе пропитывает кусок сахара.

– А, Дин, мальчик мой! – наконец вымолвил Продд. Слова знакомые, но голос похож на изломанные конные грабли. Просияв, фермер поднялся, подошел к Дину и занес уже кулак, чтобы дружелюбно грохнуть тому в плечо... и вдруг забыл о своем намерении. Кулак повисел-повисел и, повинаясь закону тяготения, опустился.

– Кукуруза готова, – проговорил Дин.

– Да-да, знаю, да, – не то вздохнул, не то ответил Продд. – Вот займусь ею. Справлюсь и сам. Так или сяк, а до первых заморозков всегда чего-нибудь да не успеваешь. А вот дойки ни одной не пропустил, – горделиво добавил он.

Глянув в дверной проем, Дин впервые увидел в кухне грязные тарелки и стаи мух.

– Младенец пришел, – проговорил он, припомнив.

– Да. Такой парень, ну прямо как... – и фермер снова словно позабыл, что намеревался сказать. Слова застыли и повисли, как тот кулак.

– Ма! – вдруг вскрикнул он. – Собери-ка мальчику перекусить, быстренько! – Потом смущенно обернулся к Дину. – Там она, – сказал он, указывая пальцем. – Если кричать громче, глядишь, и услышит.

Дин посмотрел туда, куда указывал Продд, но ничего не увидел. Поймал взгляд фермера и погрузился в него, изучая. Отпрянул невольно и потом лишь понял, что таилось в этих глубинах.

– Принес твой топор.

– О, хорошо, хорошо. А впрочем, можешь поддержать еще.

– У меня уже есть. Убрать кукурузу?

Продд затуманенным взором взглянул в сторону поля.

– Дойки не пропустил, – рассеянно пробормотал он.

Оставив его, Дин отправился в амбар за крюком для початков. Нашел. А еще увидел, что корова сдохла. Отправившись на поле, он принялся собирать урожай. Спустя некоторое время на другом конце поля появился Продд и изо всех сил навалился на работу.

Было уже за полдень, когда они сняли все початки. Продд отлучился в дом и минут через двадцать показался с кувшином и целой тарелкой бутербродов. Хлеб был черствый, а тушеная говядина явно была из запаса «про черный день» миссис Продд. На теплом лимонаде покачивались дохлые мухи. Дин вопросов не задавал. Присев на край конской поилки, они поели.

Потом Дин отправился к полю, оставленному под пар, и извлек увязший грузовик. Продд поспел вовремя, чтобы усестись за руль. Остаток дня ушел на посев, Дин засыпал семена в сеялку и еще четыре раза помогал вытаскивать засевший грузовик, старательно попадавший во все новые ловушки. Покончив с этим, Дин жестом отправил Продда к амбару, где тот нацепил на рога коровы веревку, потом грузовиком дотащил тушу до опушки. Поставив наконец на ночь машину в сарай, Продд проговорил:

– Эх, жаль, кобылы нет.

– А говорил, что не жалеешь о ней, – бестактно напомнил Дин.

– Знать бы заранее. – Продд повернул к дому и улыбнулся, припоминая. – Да, меня тогда ничего не беспокоило, ничего, понимаешь. – Все еще улыбаясь, он обернулся к Дину и продолжил: – Пойдем-ка в дом. – И весь обратный путь улыбка не исчезала с его лица.

Вошли они через кухню, заваленную старой утварью. В ней все было еще хуже, чем ему показалось снаружи. Часы стояли. Продд, улыбаясь, открыл дверь в Джекову комнату. С той же улыбкой он проговорил:

– А теперь, парень, пойдем. Глянь-ка на него.

Дин подошел и заглянул в плетеную колыбель. Кисея была порвана, от влажной голубой шерсти распространялось зловоние. Глаза – как обойные гвоздики, кожа горчичного цвета, короткая иссиня-черная щетина на голове. Ребенок с шумом дышал.

Выражение лица Дина не переменилось. Он отвернулся и вышел в кухню, глядя на одну из канифасовых занавесок – ту, которая лежала на полу.

Продд с улыбкой вышел из комнаты Джека и прикрыл за собой дверь.

– Ну сам видел, что это не Джек, а благословенье наше. Вот Ма и ушла разыскивать настоящего Джека, должно быть, так. Другого-то ей не надо. – Он улыбнулся дважды: – А тот, что в кроватке – это монголоид, так нам доктор объяснил. Пусть живет, вот вырастет раза в три и доживет до тридцати лет. А если отвезти в город, на лечение к специалисту, вырастет в десять раз. – Он улыбался. – Так говорил доктор. Не закапывать же его в землю, так ведь? Ма – дело другое, она так любила цветы...

Слишком много слов, слишком трудно пробиться сквозь широкую, напряженную улыбку. Дин погрузил свой взгляд в глаза Продда.

Там он увидел все, что нужно было фермеру, хотя тот даже не догадывался об этом. И сделал необходимое.

Потом они вместе с Проддом убрались в кухне, забрали и сожгли колыбельку и заботливо подшитые пеленки, сработанные из старых простыней, новую овальную эмалированную

ванночку, а с ней и целлулоидную погремушку, голубые фетровые ботиночки с белыми помпонами в прозрачной целлофановой коробке.

Продд приветливо помахал ему на прощание с крыльца.

– Подожди-ка, вернется Ма, так набьем тебе брюхо блинами, что лопнешь...

– Запомни: починить дверь амбара, – проскрежетал Дин. – Я вернусь.

И затопал со своей ношей по склону в лес. Его одолевали немые думы, не укладывавшиеся в слова и картинки. О детях. О Проддах. Одно дело Продды, они приютили его не без причины, теперь он знал, почему они так сделали. Но тогда он был один, теперь у него завелись эти девочки. Ему было незачем возвращаться сегодня к Проддам. Однако сегодняшние мысли твердили, что он *должен* был это сделать. Он еще вернется туда.

Один. Один Дин, один. И Продд теперь стал один, и Джейни одна, и близнецы... Хорошо, пусть их двое, но они – просто две половинки одного существа. А он, Дин, так и остался в одиночестве, пусть девочки и рядом.

Может быть, Продду не было одиноко с женой. Как знать... Но ему, Дину, в целом мире не сыскать своего подобия, разве что внутри себя самого. Весь мир отверг его, разве это не так? Даже Продды, когда дело дошло до ребенка. И Джейни отвержена, и близнецы – так она сама говорила.

Забавно, думал Дин, как чужая судьба помогает примириться с собственным одиночеством.

Ночная тьма уже запестрела солнечными зайчиками, когда он добрался домой. Коленом отворил дверь и вошел внутрь. Джейни разрисовывала старую фарфоровую тарелку, разводя грязь слюнями. Близнецы сидели в нишах под потолком и перешептывались.

– Что это? Что ты принес? – Джейни сорвалась с места.

Дин аккуратно уложил свою ношу на пол. Возле нее по бокам мгновенно выросли близнецы.

– Младенец, – проговорила Джейни и повернулась к Дину. – Такого уродливого я еще не видала.

Дин ответил:

– Ничего. Дай ему поесть.

– А что он ест?

– Не знаю, – отвечал Дин. – Тебе лучше знать.

– А где ты его взял?

– Там, на ферме.

– Значит, ты теперь похититель младенцев, – проговорила Джейни. – Знаешь, что это такое?

– Что же?

– Человек, который крадет детей. И когда это узнают, придет полисмен и застрелит тебя, а потом посадит на электрический стул.

– Нет, – с облегчением ответил Дин. – Об этом знает только один человек, но я устроил так, чтобы он все позабыл. А Ма умерла, только он об этом не знает. Он будет думать, что она уехала на восток, и ожидать ее. Так или иначе, накормить его надо.

Он стянул куртку. С детьми в утлой комнатухе было слишком жарко. Младенец тяжело пыхтел, открыв тусклые глазенки. Подойдя к очагу, Джейни задумчиво поглядела на котелок. Наконец полезла в него ложкой и принялась наполнять жестянку из-под консервов.

– Нужно молоко, – не отрываясь от дела, объявила она. – Тебе, Дин, придется теперь таскать для него молоко. Ребенок – не кошка, ему много молока нужно.

– Хорошо, – отозвался Дин.

Близнецы, сверкая белками глаз, следили за тем, как Джейни вливала бульон в вяло открывавшийся рот ребенка.

– Внутрь тоже попадает, – отметила она.

– Разве что через уши, – отозвался Дин, руководствуясь одним только внешним впечатлением и вовсе не собираясь шутить.

Потянув за рубашонку, Джейни посадила младенца, теперь ушам и шее доставалось меньше, однако едва ли хоть что-нибудь попадало в рот.

– Ну-ка, попробую! – вдруг проговорила Джейни, словно отвечая кому-то незримому. Близнецы захихикали и запрыгали вверх и вниз. Отставив банку на несколько дюймов от лица малыша, Джейни сощурилась. Тот немедленно поперхнулся, пуская изо рта бульон.

– Еще не совсем так, как надо, но я справлюсь, – сказала Джейни.

Она старалась еще с полчаса, наконец ребенок уснул.

Однажды вечером Дин поглядел на них, а потом легонько ткнул Джейни ногой.

– Что это там делается?

Она поглядела вверх.

– Он с ними говорит.

Дин задумался.

– Когда-то и я умел это делать. Слышать детей.

– Значит, ты был тогда идиотом, – уверенным тоном произнесла Джейни. – Идиоты не понимают взрослых, но понимают младенцев. Мистер Уиддикомб, ну тот, с кем жили близнецы, у него однажды была подружка-идiotка... Бони рассказала мне.

– Младенец тоже что-то вроде идиота, – проговорил Дин.

– Да, вот Бини, она говорит, что он не такой, как мы. Он у нас вроде как сложительная машина.

– А что такое сложительная машина?

Несколько преувеличив то терпение, с которым отвечала на ее вопросы воспитательница детского сада, Джейни ответила:

– Это такая машина с кнопками, на которые ты нажимаешь, а она дает тебе нужный ответ.

Дин покачал головой.

Джейни перешла к подробностям:

– Вот если у тебя есть три и четыре цента, а потом еще пять, семь и восемь центов... Сколько это будет всего?

Дин недоуменно пожал плечами.

– А когда у тебя есть сложительная машина, ты нажимаешь кнопку «два», потом «три», потом все остальные кнопки, крутишь рукоятку – и машина говорит, что получилось. И никогда не ошибается.

Медленно перебрав все слова, Дин кивнул. Потом махнул в сторону оранжевой корзины, служившей теперь колыбелью Малышу, и завороченно висевших возле него близнят.

– Где у него кнопки?

– Вместо кнопок – слова, – терпеливо объясняла Джейни. – Ты что-нибудь говоришь Малышу, потом еще что-то говоришь, а он складывает и отвечает, что получилось. Ну как сложительная машина – к одному прибавляет два и...

– Хорошо, но что ему нужно говорить?

– Что угодно, – она поглядела на Дина. – Ты у нас просто дурашка. Мне приходится по четыре раза объяснять тебе всякий пустяк. Слушай: если тебе нужно будет что-то узнать, ты скажешь мне, я – Малышу, а он получит ответ и сообщит близнецам, они снова мне, и я, наконец, тебе... Что бы ты хотел сейчас узнать?

Дин глядел в огонь.

– Не знаю ничего такого, что мне хотелось бы знать.

– Ну хорошо, придумай какую-нибудь ерунду.

Без малейшей обиды Дин принялся размышлять. Джейни же занялась корочкой на ссадине под коленкой, методично обципывая ее со всех сторон ногтями, цветом и формой напоминавшими типографские скобки.

– Предположим, у меня есть грузовик, – через полчаса вымолвил Дин, – он все время застревает в поле, земля там вся в рытвинах. Я хочу сделать так, чтоб он больше не застревал. Малыш может мне сказать, как это сделать?

– Я же говорила тебе, он может все, – резко бросила Джейни и повернулась к Малышу. Тот, как всегда, тупо глядел вверх. Потом глянула на близнецов. – Он не знает, что такое грузовик, когда ты собираешься что-то спросить у него, надо объяснить все подробности, чтобы он мог сложить их вместе.

– Но ты-то знаешь, что такое грузовик и какая земля мягкая, а какая нет. И что такое увязать. Вот и объясни ему.

– Ну ладно, – согласилась Джейни.

Она проделала всю процедуру с самого начала, сделала запрос Малышу, получила ответ от близнецов. И расхохоталась.

– Он говорит, что не надо ездить по полю, не будешь и застревать. Мог бы и сам сообразить это, тупица.

Дин ответил:

– Ладно... а что, если тебе *нужно* ездить по полю?

– Ты хочешь, чтобы я всю *ночь* задавала ему глупые вопросы?

– Так, значит, он не на каждый вопрос может дать ответ.

– На каждый! – Уточнив факты, Джейни с охотой приступила к делу.

На сей раз ответ гласил: поставьте на него большие и широкие колеса.

– А если у тебя нет времени, денег и инструментов для этого?

Теперь уже было сказано: сделай так, чтобы грузовик был очень тяжелым на твердой земле и очень легким на мягкой...

Джейни едва не объявила забастовку, когда Дин потребовал, чтобы ему объяснили, как это можно сделать, и пришла в некоторое нетерпение, когда Дин отверг предложение загружать и выгружать из него камни. Она считала, что это просто глупо и что Малыш сочетает все вложенные в него факты с теми, которые были вложены в него до того, и дает правильные, хотя и неточные ответы на позиционные суммы шин, весов, супа, птичьих гнезд, младенцев, мягкой земли, диаметра колес и соломы. Дин же убежденно придерживался своей главной линии, и в конечном итоге оказалось, что подобный способ существует, однако не может быть выражен через факты, находившиеся в распоряжении Джейни и Дина. Джейни говорила, что все это как-то связано с радиолампами, и, руководствуясь этой нитью, следующей же ночью Дин утащил из радиомастерской целую кипу книжек. Он, не сворачивая, не останавливаясь, требовал своего, пока наконец Джейни не оставила сопротивление, потому что у нее не хватало сил одновременно сопротивляться и продвигаться с исследованиями. День за днем девочка просматривала основы электроники и радиотехники. Тексты ничего ей не говорили, но Малыш явно усваивал их быстрее, чем она успевала перелистывать страницы.

В конце концов нашлось удовлетворившее Дина устройство, которое он мог сделать самостоятельно. Оно было снабжено рукояткой: повернешь влево – грузовик становится легче, вправо – тяжелеет. Другое простое приспособление добавляло мощности передним колесам – *sine qua non*³, по словам Малыша.

³ Необходимое условие (лат.).

И в своей полужилине-полупещере, возле дымного очага посреди нее, под кусками мяса, неспешно коптившегося возле дымового отверстия, с помощью двух немых девчонок, еще не вышедших из младенческого возраста, монголоидного дитяти и еще одной острой на язык девчонки, даже не школьницы, презиравшей его, но никогда не подводившей, Дин сделал такое устройство. Сделал не потому, что оно было сколько-нибудь нужно ему самому, не потому, что хотел как-то разобраться в принципах его работы, которым суждено было оставаться за пределами его понимания... он совершил невозможное, чтобы выручить старика, который когда-то научил его чему-то такому, для чего у него не было имени, а теперь осиротел и свихнулся от горя, нуждался в работе, но не мог позволить себе коня.

Взяв с собой это устройство, Дин провел в пути большую часть ночи и в серые предутренние часы установил его в грузовике. Идея приятного сюрприза выходила далеко за грань познаний Дина, но то, что получилось, в точности соответствовало этому определению. Он хотел, чтобы машина была готова к рабочему дню и чтобы старик не бродил вокруг да около, задавая вопросы, на которые у него все равно не было бы ответа.

Грузовик засел на сей раз уже посреди поля.

Добравшись до грузовика, Дин снял свою ношу с плеч и шеи и принялся пристраивать устройство согласно точным инструкциям, полученным от Малыша. Ничего сложного тут не было. Тонкая проволока, обмотанная снаружи вокруг муфты сцепления, заканчивалась маленькими щеточками, соприкасавшимися с внутренней поверхностью передних колес, образуя, таким образом, привод на переднюю ось. Далее в его руках оказалась небольшая коробочка, из которой выходили четыре серебристых провода... коробочка соединялась с рулевым колесом, каждый провод присоединялся к углу рамы.

Сев в кабину, он потянул на себя ручку. Рама со скрежетом приподнялась, словно на цыпочках. Он двинул рукоятку вперед. Грузовик ухнул на переднюю ось и кожух дифференциала с глухим стуком, от которого у Дина закружилась голова. Он с восхищением поглядел на коробочку с переключателем и перевел его в нейтральное положение. Потом оглядел все прочие устройства, которыми был снабжен грузовик, провел рукой по приборной доске и вздохнул.

Это сколько же надо ума, чтобы водить грузовик!

Дин выбрался из кабины и отправился будить Продда. Того не оказалось дома. Ветерок раскачивал кухонную дверь, вокруг на приступке валялись осколки вылетевшего из нее стекла. Под умывальником строили гнездо осы. Пахло грязными половицами, плесенью, застарелым потом. Впрочем, обстановка почти не изменилась с тех пор, как он в последний раз был здесь. Единственным новым предметом – кроме осинового гнезда – оказался листок бумаги, припиленный к стене. На нем было что-то написано. Дин снял его, соблюдая все предосторожности, разгладил на кухонном столе и дважды перевернул. Потом сложил и убрал в карман. И снова вздохнул.

Эх, если бы хватило ума научиться читать!

Дин вышел из дома, не оглядываясь, и растворился в лесу. Он больше не возвращался сюда, оставив грузовик печься на жарком солнце, разрушаться, медленно ржаветь рядом с блестящими и прочными кабелями странного серебристого цвета. Впитывавшее неистощимую энергию медленного распада атомных ядер, устройство это решало задачу полетов без крыльев, открывало новую эру в развитии транспорта, в технологии материалов. Сделанный руками идиота, по идиотской задумке предназначенный заменять павшую лошадь, брошенный по-дурацки и глупо забытый, первый антигравитационный генератор Земли ржавел на заброшенном поле.

Вот тебе и идиот!

«Дорогой дин я ушел отсюда потому что не знаю почему я здесь так долго крутился. Ма вернулась Вильмспорт Пенсильвания и была ушедши уже давно, а я устал ждать ее. Я хотел продать грузовик чтобы выручить деньги, но он увяз так что я не могу повезти его в город. И теперь я уйду куда-то далеко пока

не найду Ма. А ферма мне надоела. Бери себе все что хочешь если что нужно.
Ты был хорошим парнем хорошим другом прощай Бог благословит тебя.
Старый друг. Е. Продд».

В течение трех недель Джейни четырежды читала Дину это письмо, и с каждым новым прочтением что-то добавлялось в бродильные дрожжи, бурлившие в его душе. Большая часть процесса творилась в его душе безмолвно, какая-то часть его требовала посторонней помощи.

Он полагал, что один только Продд связывает их с внешним миром и что детишки, как и он, просто отбросы, извергнутые человечеством. Потеря Продда – а он с непоколебимой уверенностью знал, что никогда больше его не увидит, – значила потерю надежды на жизнь. По меньшей мере это была потеря всего осознанного, целенаправленного, того, что приподнимало их жизнь над существованием растений.

– Спроси Малыша, кто такой «друг».

– Он говорит: тот, кто любит тебя, даже когда ты плохо поступаешь.

Но Продд и жена его изгнали Дина, когда он стал мешать им, а значит, готовы были на это и в первый, и во второй, и на пятый год их знакомства... в любой момент. Нельзя сказать, что становишься частью чего-то, если это самое всегда готово отделаться от тебя. Но друзья... может быть, на какое-то время он им разонравился, а вообще-то они любили его?

– Спроси Малыша: можно ли стать частью того, что любишь?

– Он говорит: только если любишь и себя, и другого.

Годами Дин жаждал вновь пережить то, что случилось там, на берегу пруда. Он должен был понять, что там произошло. И если он сумеет постичь свершившееся, перед ним откроется мир. На секунду та, иная жизнь и он соединились потоком, который нельзя было ни преградить, ни остановить. Они обошлись без слов, которые ничего не значат, без мыслей, что не имеют значения. Это было слияние.

Кем он тогда был? Как говорила Джейни?

Идиотом. Просто фантастическим идиотом.

Идиот, пояснила она, – это взрослый, который способен слышать безмолвные речи детей. Тогда... с кем же он сливался тогда, в тот давний и страшный день?

– Спроси Малыша, как назвать взрослого, что умеет говорить как младенец.

– Он говорит – невинным.

Он был идиотом и понимал без слов, а она, невинная, умела говорить на детском языке.

– Спроси Малыша, что случается, если идиот и невинная окажутся рядом.

– Он говорит: как только они соприкоснутся, невинная потеряет невинность, а идиот перестанет быть идиотом.

Дин задумался. Потом он спросил у себя: «Что же так прекрасно в невинности?» Ответ был скор, почти как у Малыша: «Ожидание – вот что прекрасно в ней».

Ожидание конца невинности. Идиот тоже все время ждет. Ждет, что перестанет быть идиотом. Но как же мучительно его ожидание. И встреча означает конец для каждого из них... неужели это расплата за слияние?

Впервые за долгое время Дин ощутил покой. Ибо если это действительно так, значит, он на самом деле что-то сделал, а не разрушил. Боль, боль потери улеглась, получив свое оправдание. Пришло понимание, что, когда он потерял Проддов, боль того не стоила.

«Что я делаю? Что делаю? – в тревоге металась мысли. – Все пытаюсь понять, кто я и частью чего являюсь... Не оттого ли, что я отвержен, несуразен, да что там, просто уродлив?»

– Спроси Малыша, как назвать человека, который все время пытается понять, кто он и откуда.

– Он говорит: такое о себе может сказать всякий.

– Всякий, – прошептал Дин, – а значит, и я?

Минуто спустя он возопил:

– Какой еще всякий?

– Заткнись на пару минут. Он не может сказать... э... ага, он говорит, что он, Малыш, – это мозг, я – тело, близнецы – руки и ноги, а ты – воля и голова. Он говорит, что «Я» относится ко всем нам.

– Значит, я принадлежу тебе и им, и ты тоже – моя часть.

– Ты наша голова, глупый.

Дину казалось, что сердце его вот-вот разорвется. Он посмотрел на всех них; на руки, чтобы тянуться и доставать, на тело, чтобы заботиться и чинить, на безмозглый, но безотказный компьютер, и на... управляющую ими всеми голову.

– Мы еще вырастем, Малыш. Мы ведь только что родились.

– Он говорит: не при тебе. Не при такой, как ты, голове. Мы способны буквально на все, но мы ничего не сумеем. Да, вместе мы – существо, это так, но это существо – идиот.

Так Дин познал себя, и подобно горстке людей, сумевших сделать это прежде него, понял, что не на вершине горы стоит он, а у каменистого и неприветливого подножия.

Часть вторая. Малышу – три

Я наконец отправился поговорить с этим Стерном. Он поглядел на меня поверх стола, мигом окинув взглядом с головы до ног, взял карандаш и пригласил:

– Присаживайся, сынок.

Я остался стоять, пока он вновь не поднял глаза. Тогда я сказал:

– Ну а влети сюда комар, вы и ему скажете: присаживайся, малыш?

Он положил карандаш и улыбнулся. Улыбка была такая же острая и быстрая, как взгляд.

– Прости, ошибся, – проговорил он. – Но откуда мне было знать, что ты не хочешь, чтобы тебя называли сынком?

Так было уже лучше, но я все еще кипел.

– К вашему сведению, мне уже пятнадцать лет, и мне это не нравится.

Он вновь улыбнулся и сказал:

– О'кей.

Тогда я приблизился и сел.

– Как твое имя?

– Джерард.

– Имя или фамилия?

– И то и другое одновременно. И еще: не надо спрашивать меня, где я живу.

Он положил карандаш.

– Ну, так мы далеко не уедем.

– Это зависит от вас. В чем дело? Я произвожу впечатление враждебно настроенного человека? Пусть так. Я успел набраться всякой дряни, от которой сам не могу избавиться... иначе бы и не пришел к вам. Это может вам помешать?

– Собственно, нет, но...

– Так что еще вас смущает? Оплата? – Я достал тысячедолларовую бумажку и положил ее на стол. – Счета выставять не придется. Но *сами* следите за суммой. Израсходуется – скажите, и я принесу еще. Так что мой адрес ни к чему. И кстати, – проговорил я, заметив, что он протянул руку к банкноте. – Пусть пока полежит, мне хотелось бы сперва убедиться в том, что мы с вами договорились.

Он скрестил руки.

– Я так дел не делаю, сы... извини, Джерард.

– Джерри, – поправил я. – Делаете, раз согласились иметь дело со мной.

– Ты несколько усложняешь ситуацию. Откуда ты взял тысячу долларов?

– Выиграл конкурс на лучшую рекламу стирального порошка Судзо. – Я наклонился вперед. – На сей раз это чистая правда.

– Ну хорошо, – кивнул он.

Я был удивлен. И, кажется, он понял это, но ничего не сказал, ожидая продолжения.

– Прежде чем мы начнем... *если* до того дойдет, – сказал я, – мне нужно кое-что выяснить. Все, что вы услышите, пока работаете надо мной, останется между нами, как у священника или адвоката, не так ли?

– Так, – подтвердил он.

– Что бы вы ни слышали?

– Что бы я ни слышал.

Он говорил, а я не отводил от него глаз. И поверил.

– Можете взять деньги, – проговорил я. – Начнем.

Он не стал этого делать, а сказал:

– Заниматься такими вещами – не конфеты есть. Тебе придется помогать мне, и если ты не сумеешь – мои усилия окажутся бесполезными. Незачем вваливаться к первому же психотерапевту, чей телефон ты нашел в справочнике, и требовать от него слишком многого, просто потому, что ты в состоянии за это заплатить.

Я ответил с усталостью в голосе:

– Я отыскал вас не по телефонной книге и уверен, что именно вы мне и нужны. Я перешерстил с дюжину ваших коллег-психопатов, прежде чем решил обратиться к вам.

– Покорнейше благодарю, – проговорил он с таким видом, будто собрался обсмеять меня. – Значит, перешерстил, говоришь? И каким же способом?

– С помощью глаз и ушей. И вообще, давайте-ка отправим этот вопрос к моему адресу.

Он внимательно посмотрел на меня, впервые взглянув прямо, а не мельком и искоса. А потом взял банкноту.

– И что мне теперь следует делать? – спросил я.

– То есть?

– С чего мы начнем?

– Мы начали в тот момент, когда ты вошел в мой кабинет.

Тут уже мне пришлось рассмеяться:

– Отлично, уложили на лопатки. В моем распоряжении было только начало, и я не знал, куда вы приведете меня от него, чтобы не оказаться там вперед вас.

– Очень интересно, – промолвил Стерн. – Ты всегда просчитываешь все заранее?

– Всегда.

– И как часто оказываешься правым?

– Все время... разве что... надеюсь, мне не нужно рассказывать вам про исключения из правил.

На сей раз он расплылся в ухмылке.

– Понятно. Один из моих пациентов проболтался.

– Один из ваших бывших пациентов. Ваши пациенты молчат.

– Я прошу их об этом, что, кстати, относится и к тебе. Что же ты слышал обо мне?

– Что по словам и поступкам других людей вы знаете, что они собираются сделать или сказать, и иногда позволяете им сделать это, а иногда нет. Как вы научились этому?

Он задумался на минуту.

– Наверное, я просто от рождения наделен способностью подмечать мелкие детали, после чего допустил достаточно много ошибок в общении с достаточным количеством людей и научился не допускать новых.

Я проговорил:

– Если вы ответите на вопрос, мне не придется еще раз приходить сюда.

– Ты и в самом деле не знаешь?

– Хотелось бы знать. Однако этот разговор кажется мне бесцельным.

Он пожал плечами.

– Это зависит от того, куда ты хочешь прийти. – Он снова умолк, наделив меня всей силой своего взгляда. – Какому из кратких описаний психиатрии ты доверяешь в данный момент?

– Не понимаю.

Выдвинув ящик стола, Стерн извлек из него почерневшую трубку. Понюхал ее, повертел в руках, не отводя от меня глаз.

– Тебе известно хоть одно из толкований сущности психиатрии? Ну например: психиатрия имеет дело с луковицей, которую представляет собой личность, и снимает с нее слой за слоем, пока не доберется до крошечного ядрышка – чистого «эго». Или другое: психиатрия как нефтяная скважина – буришь вниз, вбок, снова вниз, пока не попадется богатый пласт. Или третье: психиатрия выхватывает горсточку сексуальных мотиваций, бросает их на дет-

ский бильярд твоей жизни и смотрит, как шарики разбегаются по гнездам, ударяясь в разные штырьки. Продолжать?

Усмешка.

– Последнее выглядит, пожалуй, посимпатичнее.

– Едва ли... А вообще-то все они так себе. Дают упрощенное представление о невероятно сложном объекте. Могу заверить тебя лишь в одном: что с тобой неладно, не знает никто, кроме тебя самого. И как лечить, тоже никто не ведает, кроме тебя же, так что, если причина найдется, только ты один сумеешь справиться с ней.

– А зачем тогда *нужны вы*?

– Чтобы слушать.

– Стало быть, приходится платить такие деньги только за то, чтобы меня выслушали.

– Именно. Но ты сам понимаешь, что слушаю я избирательно.

– В самом деле? – удивился я. – Наверное, действительно понимаю. Ну а вы?

– Нет, но ты никогда этому не поверишь.

Я рассмеялся. И он спросил меня, к чему все это. Я ответил:

– Теперь вы не зовете меня сыном.

– Это тебя-то? – Он медленно покачал головой, не отводя от меня глаз, которые медленно поворачивались в орбитах, следуя движению. – Что же такое ты хочешь знать о себе, требуя моего молчания?

– Хочу выяснить, почему я убил человека, – произнес я непринужденно.

Его это нимало не смутило.

– Ложись сюда.

Я встал.

– На кушетку?

Он кивнул.

Осознанным движением укладываясь на кушетку, я проговорил:

– Чувствую себя прямо как в каком-то поганом мультике.

– Каком же?

– Где парень похож на гроздь винограда, – сказал я, разглядывая светло-серый потолок.

– Как называется?

– Не помню.

– Отлично, – невозмутимым тоном проговорил он. Я внимательно посмотрел на него, уже понимая, что когда такой человек смеется, смеется он в глубине своего существа.

Он продолжил:

– Однажды я напишу книгу и упомяну в ней твой случай. Но твое имя не назову. Что заставило тебя сказать эти слова?

Я не ответил, и он поднялся и сел в кресло позади кушетки, так что я более не видел его за моей спиной.

– Кстати, сынок, можешь прекратить проверять меня, я вполне пригоден для твоих целей.

Я стиснул зубы так, что они заныли. А потом расслабился. Расслабился полностью. Чудесное ощущение.

– Ладно. Простите.

Он ничего не ответил, однако у меня снова возникло ощущение того, что он смеется. Но не надо мной.

А потом он вдруг спросил:

– Сколько же тебе лет?

– Э... пятнадцать.

– Э... пятнадцать, – повторил он. – Что знач-чит «э»?

– Ничего. Мне – пятнадцать.

– Когда я спросил, тебе пришло в голову другое число. Ты подменил его числом пятнадцать.

– Ничего я не подменял! Мне и в самом деле столько!

– Не сомневаюсь, – терпеливо продолжил он. – Так какое это было число?

Я снова вознегодовал.

– Не было другого числа! Чего вы добиваетесь, дробя мои слова на части, пытаетесь ухватить то и это и заставить их означать именно то, что вы хотите?

Он молчал.

– Пятнадцать мне, – с негодованием повторил я и добавил: – Но мне не нравится быть только пятнадцатилетним. Ты знаешь это. Я не хочу утверждать, что мне только пятнадцать.

Он все еще ждал, не говоря ни слова, и я признал поражение.

– Число это было восемь.

– Значит, тебе восемь лет. А как тебя зовут?

– Джерри. – Привстав на локте, я повернул голову так, чтобы видеть его. Он разобрал свою трубку и смотрел сквозь черешок на настольную лампу. – Джерри без всяких «э»!

– Прекрасно, – с кротостью отвечал он, заставляя меня устыдиться собственной дурости.

Я откинулся на спину и закрыл глаза. «Восемь, – думал я, – восемь».

– Холодно, – пожаловался я.

Восемь лет, еды нет, куча бед. Ел казенные харчи и всех ненавидел. Не люблю вспоминать это время... Я открыл глаза. Потолок оставался серым. Правильно. Стерн позади меня чистил трубку. Тоже правильно. Я глубоко вздохнул, второй раз и третий, потом закрыл глаза. Восемь. Восемь лет. Восемь бед. Годы-уроды. Голод-холод. Тьфу! Я вертелся на кушетке, пытаюсь отогнать холод. Я ел с блюда нена...

Заворчав, я прогнал из головы и восьмерки, и все, что стояло за ними. Осталась одна чернота. Но она не могла оставаться в покое. Изобразив огромную светящуюся восьмерку, я повесил ее посередине. А она легла набок, кольца ее засветились. Словно в движущихся картинках, которые показывают через бинокляры. Я собирался хорошенько подумать, нравится ли мне вся эта возня.

И вдруг я сразу сломался, и прошлое снова накатило на меня. Бинокль начал приближаться, и я очутился там.

Восемь – бросим, голод – холод. Голодно и холодно, как сучке в грязючке. Грязючка была в канаве, а канава возле железной дороги. Прошлогодний бурьян колослся. Земля побурела, была твердой, как цветочный горшок. Твердая, припорошенная инеем, холодная, как зимнее утро, занимавшееся над горами. По ночам в чужих домах зажигались теплые огоньки. Днями солнце, наверное, гостило тогда у кого-то, так что мне его вовсе не доставалось.

И я умирал в этой канаве, вечером она казалась мне подходящим местом для ночлега, не хуже любого другого, утром же в ней оставалось лишь помереть. Не хуже, чем где бы то ни было. Нисколько не хуже. Восемь лет, во рту приторный вкус бутерброда со свиным жиром, кем-то выброшенного на помойку, и ужас... как бывает, когда крадешь джутовый мешок и вдруг слышишь шаги за спиной.

Шаги-то я и слышал.

Я лежал, свернувшись калачиком, и мгновенно перевернулся на живот... иногда тебя без разговоров бьют прямо под дых. Закрыл голову руками, на большее я уже не был способен.

Спустя некоторое время, не шевелясь, я поглядел вперед. Возле головы вырос внушительных размеров ботинок. Из него торчала лодыжка. Рядом с ним появился второй. Не то чтобы я чего-то боялся. Просто было стыдно так вляпаться. За все проведенные мною на воле месяцы им так и не удалось поймать меня. Даже подобраться поближе, а тут... И со стыда я заплакал.

Ботинок ткнул меня, легонько, не ударяя. Перевернул лицом вверх. Я так заоченел от холода, что перекатился, как чурбачок. Только прикрыл руками лицо и голову и зажмурил глаза. Слезы по какой-то причине высохли. Мне кажется, что плакать стоит только тогда, когда есть надежда на помощь.

Но ничего не произошло, и я вновь приоткрыл глаза. Надо мной возвышался мужчина, в целую милю ростом, на нем были выгоревшие рабочие брюки, старая эйзенхауэровская куртка с пятнами от застарелого пота под мышками. Лицо его было покрыто пухом – как у мальчишки, который еще не брился.

– Вставай.

Я поглядел на ботинок, но нога не готовилась к удару. Я попытался подняться и наверняка упал бы, не подставь он мне руку под спину.

– Вставай, – повторил он, – пошли.

Клянусь, я слышал тогда, как трещат мои кости, но сумел подняться. Вставая, я прихватил с земли гладкий белый голыш. И сказал ему:

– А ну-ка, двигай, или я выбью тебе зубы этим булыжником.

Ладонь его протянулась ко мне так быстро, что я даже не сумел заметить, как его палец выковырял камень из моей руки. Я начал ругаться, а он просто повернулся ко мне спиной и побрел вверх по насыпи к колее. По пути он обернулся и бросил:

– Идешь, что ли?

Он не пытался схватить меня, и я не сопротивлялся. Он не убеждал, и я не спорил. Он не бил меня, и поэтому я не зверел. Я пошел за ним. Он ждал меня. А потом протянул мне руку, но я плюнул в нее. Он поднялся к рельсам и исчез из моего поля зрения. Я сумел взобраться наверх. Кровь начала разогреваться в моих пальцах и ногах, так что они стали казаться исколотыми дикобразом. Когда я поднялся на насыпь, оказалось, что он стоит там и ждет меня.

Путь был совершенно ровным, но едва я устремил глаза вдаль, рельсы накренились, вздыбились и вдруг повисли надо мной, а потом я оказался опять на спине, и перед моими глазами возвышалось холодное небо.

Подойдя поближе, мужчина сел на рельс рядом со мной. Он не стал даже пытаться притронуться ко мне. Я попробовал пару раз вздохнуть и вдруг понял, что со мной все будет в порядке, если я сумею на минутку вздремнуть – всего на одну минутку. Я закрыл глаза. Мужчина жестко и больно ткнул меня пальцем в ребра.

– Не спи, – сказал он.

Я посмотрел на него. И услышал его голос:

– Ты замерз и ослаб от голода. Я хочу взять тебя домой, согреть и накормить. Только путь неблизок. Сам ты его не одолеешь. Я понесу тебя.

– А что ты будешь делать со мной дома?

– Я тебе сказал.

– Хорошо, – ответил я.

Он поднял меня и понес вдоль путей. Если бы он сказал хотя бы одно слово, я остался бы там, возле насыпи, я остался бы там, где лежал, пока не замерз бы насмерть. Впрочем, что ему толку с меня, так или иначе? Я не был годен совершенно ни на что.

Я не стал более размышлять на эту тему, а потом задремал.

Проснулся же, когда он свернул направо с путей. Он шел в лес. Тропы не было, но он прекрасно знал дорогу. Потом я опять проснулся – от скрипа. Он нес меня через замерзший пруд, и льдинки хрустели под ногами. Он не спешил. Я поглядел вниз и заметил, как от ног его разбегались белые трещины, но мне было все равно, и я снова уснул.

Наконец он опустил меня. Мы добрались до жилища. Я оказался в жарко натопленной комнате. Он поставил меня на ноги. Я отскочил от него подальше. Первым делом отыскал

взглядом дверь, немедленно бросился к ней и привалился спиной на тот случай, если придется бежать. И лишь потом огляделся.

Комната была большая. Одну стену образовывала неровная скала. Другие оказались бревенчатыми – щели между бревен были старательно заделаны. Свет лился скорее из стены – не от очага, находившегося посреди комнаты. В стене была устроена какая-то ниша, в ней на полочке стоял старый автомобильный аккумулятор, от него тянулись провода к двум электрическим лампочкам. Еще там был стол, какие-то ящики и пара трехногих табуретов. Воздух пах дымом и таким чудесным, рвущим сердце сладостным ароматом еды, что рот наполнился слюной.

– Ну, Малыш, и что же это я притащил? – спросил мужчина.

В комнате было полно детей. На первый взгляд их было всего трое, только почему-то казалось, что их куда больше. Девочка моих лет – восьмилетняя то есть – с пятнышком синей краски на щеке. Перед ней стояли мольберт и палитра, целый пучок разных кистей, но она ими не пользовалась – мазала прямо пальцами. Потом была еще маленькая негрityночка, чуть старше пяти лет, она глядела на меня большими глазами. В деревянной колыбельке на козлах располагался младенец, месяцев трех или четырех от роду. Обычный младенец, который гулил, пускал пузыри, болтал ногами и руками.

Когда мужчина заговорил, девочка отвернулась от мольберта и поглядела на младенца. Тот по-прежнему пускал пузыри.

– Его зовут Джерри, – проговорила она. – Он свихнулся.

– И от чего же? – поинтересовался мужчина. Он тоже глядел на младенца.

– От всего, – отвечала девочка, – и от всех.

– А откуда он?

– Эй, что это такое, – возмутился я, но на меня никто и не думал обращать внимания.

Мужчина задавал вопросы младенцу, девочка отвечала. Более дурацкой сцены я еще не видел.

– Он убежал из приюта, – сказала девочка. – Там он был сыт, но никто не радовался ему.

Тогда я открыл дверь, и внутрь хлынул холод.

– Эй, ублюдок, – сказал я хозяину, – так ты из школы?

– Джейни, закрой дверь, – произнес мужчина. Девочка у мольберта не шелохнулась, но дверь за моей спиной хлопнула. Я попытался открыть ее – она даже не шевельнулась. Взыв, я бросился на дверь.

– Придется поставить тебя в угол, – проговорил мужчина. – Ну-ка, Джейни.

Джейни только поглядела в мою сторону, и один из трехногих табуретов поплыл по воздуху прямо ко мне. Потом завис и перевернулся набок. Подтолкнул меня сиденьем. Я дернулся в сторону – прямо в угол. Стул наступал. Я попытался сбить его вниз, но только ушиб руку. Я нырнул, но он успел опуститься ниже меня. Я взялся за него и попробовал перелезть. Тогда табурет упал, и я вместе с ним. Потом я встал и, дрожа, замер в углу. Стул повернулся как надо и устроился на полу прямо передо мной.

Мужчина проговорил:

– Спасибо, Джейни. – Потом повернулся ко мне. – Пока постой там. Не нужно было шуметь.

И, повернувшись к младенцу, продолжил:

– Он тот, который нам нужен?

Опять ответила девочка:

– Ну да. Он и есть.

– Ну, – сказал мужчина, – отлично! – Потом подошел ко мне. – Джерри, ты можешь жить здесь. Я не из школы. И никогда тебя туда не отдам.

– Да ну...

– Он тебя ненавидит, – продолжила Джейни.

– И что мне теперь нужно с этим делать? – поинтересовался мужчина.

Джейни заглянула в колыбель.

– Покорми его. – И мужчина принялся возиться у очага.

Чернокожая девочка все стояла на том же самом месте, не отводя от меня вытаращенных глаз. Джейни вновь повернулась к своему мольберту, младенец просто лежал, как и прежде, так что я перевел взгляд на крошечную негрityночку.

– Какого черта уставилась, – бухнул я. Она ухмыльнулась и ответила:

– Джерри, хо-хо, – и сразу исчезла. По-настоящему исчезла, честное слово! Ее словно выключили, и только одежонка осталась на полу – все тряпки кучкой свалились на том месте, где она только что стояла.

– Джерри, хи-хи, – услышал я потом. Поглядел вверх – там она и оказалась, голышом устроившись в маленькой нише под самым потолком, и тут же испарилась, заметив мой взгляд.

– Джерри, хо-хо, – слышалось снова. Теперь она примостилась на ящиках, служивших им комодом.

– Джерри, хи-хи! – она оказалась уже под столом.

– Джерри, хо-хо! – услышал я прямо над ухом. Я завопил и попытался сбежать, но ударился о стул. Мне стало по-настоящему страшно. Я вжался в угол.

Мужчина, сидевший у очага, бросил на нас строгий взгляд.

– Эй, дети, прекратите!

Наступило молчание, и девочка медленно вылезла из нижнего ряда ящиков. Подошла к своей одежонке, натянула ее.

– А как это ты делаешь? – поинтересовался я.

– Хо-хо, – отвечала та.

Джейни пояснила:

– Все просто, на самом деле они близнецы.

– А, – выдавил я. Откуда-то вынырнула другая девочка и стала рядом с первой. Не отличишь. Стоя бок о бок, они глядели на меня. На этот раз я не возражал.

– Это Бони и Бини, – представила художница, – это Малыш, а это, – она показала на мужчину, – Дин. А я Джейни.

Не зная, что и сказать, я только вымолвил:

– Понятно.

Дин попросил:

– Джейни, воды.

Плеснула вода, я не видел откуда.

– Довольно, – поблагодарил он и повесил котелок над огнем. Потом взял надтреснутую фарфоровую тарелку, на ней были куски мяса и клецки с морковкой, обильно политые подливой. – Эй, Джерри, садись.

– На это? – я глянул на стул.

– Конечно.

– Меня не обманешь, – отвечал я, принимая тарелку и отворачиваясь с нею к стене.

– Эй, – сказал он чуть погодя, – полегче. Мы уже поели, и ничего у тебя не собираемся отбирать. Не торопись.

Я припустил еще быстрее и уже почти покончил с клецками, когда меня вывернуло наизнанку. Голова моя почему-то ударилась об угол стула. Чувствовал я себя сквернее некуда.

Дин подошел и поглядел на меня.

– Бедняга, – проговорил он. – Прибери-ка за ним, Джейни.

И прямо на моих глазах лужа исчезла с полу. Но я уже не был способен удивляться. Я почувствовал его руку, которая взъерошила мои волосы.

– Бини, дай ему одеяло. И ну-ка спать. Ему нужно отдохнуть.

Я почувствовал на себе одеяло и уснул, наверное, прежде, чем Дин успел уложить меня.

Не знаю даже, через какое время я очнулся. Спросонья я не понял, где нахожусь, и это меня испугало. Я приподнял голову и увидел тускло рдевшую кучку углей в очаге, а рядом с очагом спавшего Дина. Мольберт Джейни чернел огромным богомолем. Я заметил, как из колыбели вынырнула голова Малыша, правда, не мог понять, смотрит он на меня или нет. Джейни лежала на полу возле двери, близнецы спали на старом столе. Ничего не шевелилось, только покачивалась головенка младенца.

Я встал на ноги и огляделся: комната как комната, с одной только дверью. Я на цыпочках отправился к выходу. Когда пробирался мимо Джейни, она открыла глаза.

– Куда ты? – спросила она.

– Не твое дело, – отвечал я. Потом непринужденно зашагал к двери, одним глазом следя за девчонкой. Она не шевелилась. Дверь со вчерашнего дня оставалась плотно закрытой.

Я вернулся к Джейни. Она спокойно поглядела на меня, не выражая никакого смущения. Тогда я пробормотал:

– Мне за угол надо, понимаешь?

– А, – отвечала она, – что ж ты сразу не сказал.

Я вдруг охнул и ухватился за пузо. Мной овладело совершенно неописуемое чувство. С одной стороны, вроде бы больно, а с другой – не больно. Ничего похожего со мной в жизни еще не случалось. Слышно было, как за дверью что-то плеснуло на снег.

– О'кей, – кивнула Джейни, – теперь ступай спать.

– Но мне надо...

– Что тебе надо?

– Ничего. – Это было правдой. Мне действительно никуда уже не было нужно.

– В следующий раз говори прямо, не стесняйся.

Я промолчал и вернулся на свое одеяло.

– И это все? – спросил Стерн. Я лежал на кушетке, уставившись в серый потолок. Он повторил: – Сколько же тебе лет?

– Пятнадцать, – сонным голосом отвечал я. Он ждал. Под серым потолком проступали стены, ковер, лампы и стол, за которым на стуле сидел он сам. Я сел, на секунду обхватил голову руками и тогда только посмотрел на него. Не отводя от меня глаз, он по-прежнему занимался трубкой.

– Что вы со мной сделали? – спросил я.

– Я уже говорил: ничего. Все делаешь ты сам.

– Вы загипнотизировали меня.

– Нет. – Голос звучал уверенно и правдиво.

– Что же это было? Я... я словно пережил все заново.

– И что-нибудь почувствовал?

– Все почувствовал, – я передернул плечами, – все до последней мелочи. Что это было?

– Когда такое сделаешь, становится легче. Теперь ты можешь сам практиковать это, и с каждым разом боль будет угасать. Вот увидишь.

Я изумился, впервые за последнее время. Потом обдумал слова Стерна и спросил:

– Если я все сделал сам, почему же прежде такого не случилось?

– Нужно, чтобы кто-нибудь слушал.

– Слушал? Значит, я говорил?

– Не закрывал рта.

– Обо всем, что случилось?

– Откуда мне знать. Меня там не было. Это ты все видел.

– А ты поверил мне? И про исчезающих девчонок, и про летающий табурет?

Он пожал плечами:

– Моя работа состоит не в том, чтобы верить или не верить. Главное, что для тебя все это было реальным...

– Еще как!

– Ну в этом-то и заключается самое главное. Значит, с ними ты сейчас и живешь?

Я откусил досаждавший мне ноготь.

– Жил, но недолго, пока Малышу не стало три. – Я посмотрел на него. – Вы напомнили мне Дина.

– Почему?

– Не знаю. Впрочем, нет, вы на него не похожи, – торопливо добавил я и снова лег. – Не знаю, что заставило меня сказать вам это.

Потолок стал серым, свет ламп потускнел, черешок трубки звякнул о его зубы. Я пролежал так долгое время.

– Ничего не происходит, – сообщил я ему.

– А что, по-твоему, должно было произойти?

– Что-то вроде того, что было.

– В тебе есть кое-что еще, и оно просится наружу. Дождись.

В моей голове словно проворачивался барабан револьвера, в котором запечатлены места, предметы и люди, с которыми я был знаком. Я заставил барабан остановиться, и остановился он в пустом месте. Я снова раскрутил его, и снова остановил.

– Опять ничего.

– Малышу три, – повторил он.

– Ах, это, – проговорил я, закрывая глаза.

Ночь за ночью спал я на том одеяле, а многие ночи и не спал. В доме Дина вечно что-то происходило. Иногда я дремал днем. Одновременно все укладывались, как я понял потом, лишь когда кто-то болел, как было тогда, когда Дин принес меня. В комнате всегда было сумрачно. Очаг горел и ночью, и днем. Две старые лампы желтели над головой. Когда они начинали тускнеть, Джейни что-то делала с аккумулятором, и свет разгорался ярче.

Джейни, кажется, делала вообще все необходимое, за что не брался никто другой. Дина частенько не бывало дома. Иногда он брал в помощь близнят, только их отсутствие трудно было определить, они то исчезали, то появлялись – *бам*, и готово. А Малыш так и оставался в своей колыбели.

Я и сам кое-что делал. Нарубил дров, смастерил полки. Иногда мы с Джейни и близнятами отправлялись купаться. Еще я разговаривал с Дином. Но такого, как остальные, я не умел и поэтому злился, злился все время. Ведь часто я не знал, чем бы заняться. Впрочем, это не мешало нам *слидиняться*. Так говорила Джейни. Она утверждала, что словечко подсказал ей Малыш: это когда все становятся одним, даже если заняты разными делами. Ну как две руки, две ноги, тело и голова трудятся вместе, хотя голова не умеет ходить, а руки не думают. Дин сказал, что в этом слове перепутались два: «сливаться» и «соединяться».

Малыш все время был в действии. Как радиостанция, двадцать четыре часа в сутки. Хочешь – слушай, хочешь – нет, но сигналы она посылает регулярно. И если я скажу, что он говорил, то ничем не отступлю от истины. Его дрыганье руками и ногами казалось бессмысленным. На самом деле это были сигналы – причем каждое движение выражало не букву, а целую мысль.

Ну, например, если протянуть левую руку, высоко поднять правую и притопнуть левой пяткой, получалось: «Всякий, кто считает скворца вредителем, ничего не знает о том, как мыс-

лит скворец», – или что-нибудь в этом роде. Это Джейни заставила Малыша изобрести такой телеграфный язык. Она говорила, что слышит, как думают близнецы, – именно слышит их мысли, – а они слышат Малыша. Так что она могла сперва спросить у них, они у Малыша, а потом уже передать ей его ответ. Однако они росли и постепенно начали утрачивать эту способность. Поэтому Малыш научился понимать чужую речь и отвечать своим семафором.

Дин не умел понимать его, и я тоже. Близнецам это было абсолютно все равно. Джейни следила за ним все время. Он всегда знал, что ты имеешь в виду, если ты собирался его о чем-то спросить, давал свой ответ Джейни, и она пересказывала его нам. Отчасти, конечно, потому, что полностью его никто не мог понять, даже она сама.

Малыш совсем не рос. Джейни росла и близнята, я тоже, но только не этот младенец. Он просто лежал. Джейни наполняла его живот и раз в два-три дня очищала его. Он не плакал, не производил никакого шума. К нему никто и не подходил.

Каждую нарисованную ею картинку Джейни показывала Малышу, потом чистила доски и принималась за новые. Очищать их от краски ей приходилось, потому что у нее было всего три доски. Оно и к лучшему, страшно подумать, во что превратилась бы комната, если бы Джейни их сохраняла, ведь она рисовала в день по четыре-пять штук. Дин с негритятами замаялись, добывая для нее скипидар. Краски-то она возвращала с картинок обратно в горшочки, но скипидарить каждый раз приходилось заново. Она говорила, что Малыш помнит все картинки до единой, потому-то ей и не нужно хранить их. Она рисовала какие-то машины, шестеренчатые коробки, механические узлы и что-то вроде электрических схем.

Однажды мы с Дином отправились за скипидаром и ветчиной; лесом спустились к железной дороге, потом по путям прошли пару миль до места, откуда были видны городские огни. Потом снова лесом по просекам, на дальнюю улицу.

Дин всегда был один и тот же – шагал впереди и думал, думал.

Мы пришли к скобяному ларьку. Посмотрев на висячий замок, он покачал головой и вернулся ко мне. Потом мы нашли лавчонку, где торговали всякими мелочами. Дин забормотал, и мы остановились у двери. Я заглянул внутрь.

Вдруг там оказалась Бини – голышом, она всегда путешествовала подобным образом. И принялась отпирать дверь изнутри. Мы вошли, и Дин запер за собой замок.

– Отправляйся домой, Бини, – проговорил он, – пока не промерзла.

Та ухмыльнулась мне, проговорила свое «хо-хо» и исчезла.

Мы взяли пару отличных окороков и двухгалонную бутылку скипидара. Я прихватил было ярко-желтую шариковую ручку, но Дин отвесил мне подзатыльник и заставил положить ее на место.

– Бери лишь то, что нужно, – пояснил он. Мы ушли, тогда Бини вновь вернулась туда, заперла дверь изнутри и отправилась восвояси. Дин брал меня с собой, когда ноша бывала ему не под силу.

Так я прожил около трех лет. Это все, что я помню об этом времени. Присутствия Дина в доме не ощущалось вне зависимости от того, находился он в доме или нет, близнецы все время были заняты друг другом. Джейни мне нравилась, но мы с ней редко говорили. Вот Малыш не умолкал – хотя я не знаю, о чем он трещал.

И все мы были заняты делом и слидинялись.

Я резко сел на кушетке.

– Что случилось? – спросил Стерн.

– Мы топчемся на одном месте.

– Ты сказал это, едва мы успели начать. Но все-таки есть разница между этим сеансом и предыдущим?

– О да, но...

– Тогда откуда ты можешь быть уверен в том, что прав на этот раз? – Я ничего не ответил, и он спросил: – Разве последний отрезок тебе не понравился?

Я сердито ответил:

– Не могу сказать, что мне что-то нравилось здесь или не нравилось. Просто это какая-то бессмыслица... пустые разговоры.

– Так есть какая-то разница между тем, что случилось сейчас и было раньше?

– Чтоб мне лопнуть! Во время первого сеанса я все события ощущал, словно заново их пережил. На этот раз – ничего подобного.

– Ну и почему так произошло?

– Не знаю. Объясните.

– Предположим, – задумчиво проговорил он, – с тобой в прошлом случилось нечто настолько неприятное, что ты боишься даже подобраться к этому эпизоду.

– Неприятное? А замерзнуть в канаве – это приятно?

– Ну неприятности бывают разные: случается, что штука, которую ты пытаешься вспомнить – ну, которая повинна в твоих бедах, – настолько отвратительна, что сознание не смеет даже приближаться к ней. Наоборот – стремится спрятать ее поглубже. Впрочем, постой, – внезапно проговорил он. – Возможно, слова «отвратительное» и «неприятное» не точны. Бывает и обратное. Причина твоих несчастий может оказаться настолько желанной, что ты и менять ничего не хочешь.

– Я как раз *хочу* найти ее.

Стерн ждал, словно ему сначала нужно было что-то выяснить самому, а потом спросил:

– В этих двух словах «Малышу три» – есть нечто отталкивающее тебя? Почему?

Я молчал. Он подошел к столу.

– Если бы я это знал.

– Кто это сказал?

– Не знаю... Э...

Он ухмыльнулся.

– Опять «э»?

Я ухмыльнулся в ответ.

– Ну я сказал.

– Хорошо. Когда?

Улыбка сбежала с моего лица. Он наклонился вперед и встал.

– В чем дело? – спросил я.

Он ответил:

– Вот уж не думал, что можно настолько свихнуться.

Я промолчал, и он направился к собственному столу.

– Сдается мне, ты уже не хочешь продолжать, так я понимаю?

– Не хочу.

– А если я, предположим, скажу тебе, что ты хочешь прекратить наш разговор именно потому, что вот-вот обнаружишь искомое?

– Тогда почему вы не скажете это напрямую, а потом увидите, как я буду реагировать?

Он покачал головой.

– Ничего не могу тебе сказать. Уходи, если хочешь. Я дам сдачу с твоей тысячи.

– А часто ли люди отказываются идти дальше, когда оказываются на пороге ответа?

– Не так чтобы очень.

– Ну и я не собираюсь отказываться. – С этими словами я лег на кушетку.

Он не рассмеялся, не сказал «хорошо», никак не выразил своего одобрения, просто поднял телефонную трубку и дал указания:

– На сегодня прием окончен. – Потом он направился к своему креслу – туда, откуда мне его не было видно.

И опять тишина. Полная. Комната явно была звукоизолирована.

– Как вы считаете, почему Дин взял меня к себе в дом, хотя я не мог делать ничего из того, что умели другие дети?

– Возможно, ты ошибаешься в этом.

– Ну нет, – проговорил я с полной уверенностью. – Я пытался. Для своего возраста я был сильным ребенком, а кроме того, умел держать рот на замке, но во всем остальном ничем не отличался от обыкновенных детей. И не думаю, что отличаюсь теперь, если не считать тех отличий, которыми меня наградило проживание с Дином и его ребятами.

– Имеет ли это какое-то отношение к словам: «Малышу – три»?

Я посмотрел на серый потолок.

– Малышу три. Малышу три. Я пришел к большому дому по извилистой дорожке, проходящей под чем-то вроде театрального занавеса. Малышу три. Малышу...

– Сколько тебе лет?

– Тридцать три, – сорвалось с моих губ, и я тут же как ошпаренный вскочил с кушетки и бросился к двери.

Стерн рукой остановил меня.

– Не дури, или ты хочешь, чтобы я потратил впустую полдня?

– Что мне с того? Я плачу за это.

– Хорошо, как знаешь.

– Сколько тебе лет?

Я вернулся и сказал:

– Все это мне совершенно не нравится.

– Хорошо. Уже теплее.

– Но почему я сказал «тридцать три»? Мне же не тридцать три, мне пятнадцать. И еще кое-что...

– Да?

– Это о том, что Малышу три. Это я сказал, правильно. Но если подумать – голос не мой.

– Как и тридцать три не твой возраст?

– Да, – прошептал я.

– Джерри, – дружелюбно проговорил он, – бояться тут нечего.

Я понял, что задыхаюсь. Постарался успокоиться и сказал:

– Не нравится мне то, что мои воспоминания стали говорить чужим голосом.

– Видишь ли, – сказал он, – наша работа – мозгоправов, если так можно выразиться, – на самом деле вовсе не такова, какой ее представляют люди. Когда вместе с тобой я вхожу в мир твоего сознания, то есть когда ты сам углубляешься в него, мы обнаруживаем нечто, не столь уж отличающееся от так называемого реального мира. Сначала кажется по-другому, ведь каждый пациент является к нам с собственным набором фантазий, иррациональных событий и загадочных восприятий. Каждый человек обитает в подобном мире. Когда кто-то из древних сказал: «Правда удивительнее вымысла», он имел в виду именно это.

Куда бы мы ни пошли, чем бы ни занялись, нас окружают символы, предметы настолько знакомые, что мы даже не смотрим на них или же не замечаем, если и смотрим. Если бы кто-то мог в точности поведать тебе, что именно он видел и думал, пройдя десять футов по улице, ты получил бы самую искаженную, путаную, туманную и неполную картину из всех, которые тебе приходилось видеть. Никто и никогда не воспринимает окружающее с полным вниманием до тех пор, пока не попадает в подобный моему кабинет. Тот факт, что он рассматривает прошлые события, абсолютно ничего не значит; существенно другое – то, что он видит теперь яснее потому лишь, что впервые прилагает усилия.

Теперь о твоём «тридцать три». Едва ли можно получить потрясение более сильное, чем обнаружить в себе чужие воспоминания. Своя личность слишком важна, чтобы можно было позволить себе такое отступление от нее. Учти еще, что мышление закодировано, и человек способен расшифровать лишь десятую часть собственных мыслей. И вот вдруг он натывается внутри себя на участок кода, вызывающий у него отвращение. Разве трудно понять, что ключ к такому коду ты можешь отыскать единственным способом – перестать отворачиваться от него?

– Вы хотите сказать, что я начал вспоминать... чужие мысли?

– Так тебе показалось на какое-то время, – но и это важно. Давай попробуем разобраться.

– Хорошо. – Мне было дурно. Я устал. И вдруг понял, что дурнота и усталость – только попытки уклониться.

– Малышу – три, – проговорил он.

Малышу – сколько угодно. И три, и тридцать три, и между пятью и семью. Кью.

– Кью! – выкрикнул я. Стерн молчал. – Слушайте, не знаю почему, но, кажется, я нашел дорогу, только другую. Ничего не случится, если я попробую иначе?

– Ты сам лечишь себя, – напомнил он. Пришлось рассмеяться. Потом я закрыл глаза.

А там... Лужайки только что помыли и причесали, и цветы прямо дрожали от страха, как бы ветерок не растрепал их лепестки.

Я шел вверх по дороге, тесные ботинки жали. Я не хотел идти в этот дом, но пришлось. Я поднялся по ступеням меж белых колонн и поглядел на дверь. Интересно, что за ней, но она была такая белая и прочная... Над ней, слишком высоко, располагалось окошко навроде веера, и еще два окошка соседили с ней по сторонам. Все три с разноцветными стеклами. Я ткнул дверь ладонью, тут же оставив грязный след.

Ничего не произошло, поэтому мне пришлось постучать снова. Дверь распахнулась. В ней появилась высокая худощавая служанка из цветных.

– Что тебе нужно?

Я сказал, что мне надо повидать мисс Кью.

– Мисс Кью не разговаривает с такими, как ты, – отрезала она. – Поди умойся сперва.

Тогда я начал свирепеть – я уже на лестнице пожалел, что пришел сюда, заставив себя приближаться днем к людям и все такое, однако, собрав все свое терпение, проговорил:

– Мое лицо здесь ни при чем. Где мисс Кью? Ступай-ка разыщи ее.

Она охнула:

– Как ты смеешь так говорить со мной?

Я ответил:

– Вот уж не собирался никаким образом говорить с тобой. Впусти меня.

Я хотел уже прибегнуть к помощи Джейни. Она запросто сдвинула бы эту тетку с места. Но я сам должен был все сделать. И такого приема не ожидал. Она захлопнула дверь, прежде чем я успел даже раз ругнуться.

Поэтому я принялся колотить в дверь ногами. Вот для чегогодились башмаки. Немного погодя она снова распахнула дверь, да так внезапно, что я чуть не упал на задницу. Размахивая щеткой, она завизжала:

– Убирайся отсюда, подонок, иначе полицию вызову!

А потом толкнула меня так, что я и впрямь упал.

Поднявшись с пола, я кинулся к ней. Она отступила назад, и, когда я оказался поблизости, огрела меня щеткой, но я-то был уже внутри дома. Я как раз отобрал у нее оружие, но совсем рядом кто-то произнес: «Мириам!» – с интонацией взрослой гусыни.

Я замер на месте, а служанка истерически завопила:

– Ох, мисс Алисия, да вы гляньте только! Он убьет вас. Вызывайте полицию. Он...

– Мириам! – прозвучал тот же голос, и служанка умолкла.

Наверху лестницы стояла строгая с виду женщина в расшитом кружевами платье. Она показалась мне старше, чем была на самом деле, возможно, потому, что рот ее был сжат буквально в ниточку. Должно быть, ей было года тридцать три... *тридцать три*! Смущенные глаза, небольшой нос.

Я спросил:

– Это вы и есть мисс Кью?

– Да, я. А в чем причина вторжения?

– Мне нужно переговорить с вами, мисс Кью.

– Нужно? Так выпрямись и открой рот.

Служанка проговорила:

– Все, вызываю полицию.

Мисс Кью обернулась к ней.

– Успеет, Мириам. Ну, неряха, отвечай, что тебе нужно.

– Мне нужно говорить с вами с глазу на глаз, – проговорил я.

– Не надо, не соглашайтесь, мисс Алисия! – выкрикнула служанка.

– Успокойтесь, Мириам! А ты говори при ней.

– К чертям! – Обе охнули. – Дин не велел мне этого делать.

– Тихо, Мириам. Молодой человек, следует все-таки придерживать язык... – И тут глаза ее округлились. – *Кто* тебе не велел?..

– Дин.

– Дин. – Стоя наверху лестницы, она опустила взгляд к ее подножию и сказала: – Мириам, пусть будет так. – Слова эти, похоже, произносила совсем другая женщина.

Служанка открыла рот, но мисс Кью нацелила на нее указательный палец. Словно разглядев на конце его револьверную мушку, служанка капитулировала.

– Эй, – окликнул я, – вот твоя щетка.

Я уже намеревался кинуть ее этой тетке, но мисс Кью пошла ко мне и отобрала у меня щетку.

– Иди сюда, – указала она.

Мисс Кью провела меня в какую-то комнату величиной с наш купальный пруд. Кругом было много книг, стояли столы, обитые кожей, с золочеными цветочками по углам. Она указала мне на кресло:

– Садись. Нет, подожди минутку. – Она отправилась к камину, извлекла газету из ящика и, развернув, закрыла ею сиденье кресла. – Теперь можешь.

Я уселся на газету. А она пододвинула еще одно кресло, но класть газету на него не стала.

– В чем дело? Где Дин?

– Он умер, – отвечал я.

Она охнула и побледнела. И все глядела на меня, пока глаза ее не увлажнились.

– Вам худо? – спросил я.

– Умер? Дин умер?

– Да. На той неделе была большая вода, она размыла корни старого дуба. Следующей ночью Дин проходил рядом, когда случился сильный порыв ветра. Дерево и свалилось на него.

– *Свалилось* на него, – прошептала она. – Ах нет... этого не могло произойти.

– Все так, я не вру. Сегодня утром мы закопали его. Терпеть было уже невозможно, он начинал см...

– Подожди. – Она закрыла лицо руками.

– В чем дело?

– Сейчас со мной все будет в порядке, – негромко поговорила она. Встала, подошла к камину и замерла спиной ко мне. Ожидая, пока она вернется, я скинул с ноги башмак. Однако она возвращаться в кресло не стала. – Так ты и есть его мальчишка?

– Да, он велел, чтобы я пришел к вам.

– О, мое дорогое дитя! – Она бросилась назад, и я уже подумал, что она вот-вот возьмет меня на руки или выкинет еще что-то в том же роде. Однако она остановилась передо мной, чуть наморщив нос. – А... а как тебя зовут?

– Джерри, – отвечал я.

– Ну, Джерри, а как ты посмотришь на то, чтобы жить со мной в этом доме? У тебя здесь будет все... одежда, еда!

– Об этом и была речь. Дин велел, чтобы я шел к вам. Он сказал, что деньги свои вы не знаете куда девать, а еще сказал, что вы в долгу перед ним.

– В долгу? – Она заволновалась.

– Ну, – попробовал я объяснить, – он говорил, что когда-то что-то сделал для вас и что вы обещали расплатиться с ним. Вот и все.

– И что же он говорил тебе об этом? – К тому времени она уже справилась с собой.

– А ни фиги.

– Пожалуйста, не говори больше подобных слов. – Она зажмурила глаза. Потом открыла их и кивнула. – Обещала и сделаю. Можешь оставаться у меня. Если хочешь, конечно.

– Я не могу сделать иначе. Дин *приказал* мне.

– Тебе будет хорошо здесь, – пообещала она, оглядев меня с ног до головы. – Я пригласю за этим.

– О'кей. Можно звать остальных ребятишек?

– *Остальных*... Сколько вас?

– Да, речь не обо мне одном, обо всех нас... о нашей шайке.

Она откинулась на спинку кресла, достала дурацкий маленький платочек, промокнула им губы, не отрывая от меня взгляд.

– А теперь расскажи мне о них... об этих детях.

– Ну, там у нас есть еще Джейни, ей одиннадцать, как и мне. Бини и Бони по восемь, они близнецы. Еще Малыш. Ему три.

Я заорал. Но Стерн уже стоял на коленях возле кушетки и держал руками мою голову, мотавшуюся с боку на бок.

– Отлично, мальчик, – проговорил он, – вот и нашел, еще не ясно, что именно, но докопался, это уж точно.

– Докопался, – согласился я. – Дайте попить.

Он плеснул воды из термоса. От холода даже заломило зубы. Я лежал и отдыхал, словно только что взобрался на гору.

– Больше такого мне не вынести.

– Ты хочешь сказать, что на сегодня с тебя хватит?

– А с вас?

– Я, пожалуй, еще потерплю, если только выдержишь ты.

Я подумал.

– Хотелось бы, однако новых хождений вокруг да около я уже не перенесу. Во всяком случае, пока.

– Если ты хочешь еще одну из приблизительных аналогий, – продолжал Стерн, – психиатрия – вроде карты дорог. И достичь одного и того же места можно разными путями.

– Придется помучиться, – вздохнул я. – Это только сперва восьмиполосное шоссе... А потом – по горной тропке. Но ведь я не знаю, где сворачивать?

Он хохотнул. Мне понравился его смех.

– Вон за той грунтовкой.

– Пытался. Только там смыло мост.

– Ты уже знаешь эту дорогу, – сказал он, – начнем сразу от моста.

– Никогда не думал, что так можно. Мне казалось, я должен заново проделать ее, дюйм за дюймом.

– Необязательно. Может, придется, а может, и нет, но мост легче перейти, когда ясна вся остальная дорога. На мосту может и оказаться, и не оказаться ничего ценного, однако ты не сумеешь подойти к нему, если не осмотришь все остальное.

– Тогда пошли. – Я ощутил растущую решимость.

– Хочешь еще совет?

– Нет.

– Просто говори, – сказал он, – не пытайся слишком глубоко погружаться в то прошлое, о котором идет речь... Первый отрезок, когда тебе было восемь, ты по-настоящему прожил, второй, с детьми, – подробно пересказал. Визит, что был в одиннадцать лет, воскресил. Теперь просто говори.

– Хорошо.

Он помедлил и спокойно сказал:

– Так, значит, в библиотеке ты поведал ей об остальных детях.

Я рассказал ей о... а потом она сказала... и что-то случилось, и я завопил. Она утешала меня, а я... я грубил. Однако теперь речь была не об этом. Мы шли дальше.

Библиотека. Кругом кожа. И я стараюсь сделать с мисс Кью то, что говорил Дин.

А сказал он так:

– На верхушке холма около Высот живет женщина по фамилии Кью. Ей придется позаботиться о вас. Вы должны заставить ее сделать это. Слушайтесь ее во всем, только держитесь вместе. А кроме того, живите так, чтобы мисс Кью была счастлива, и она постарается, чтобы вы были счастливы. И смотрите, чтобы никто из вас, ни один, помни, не сбежал от остальных. А теперь делайте то, что я сказал.

Так сказал нам Дин. И каждое его слово было соединено с другими как бы стальным тросом, так что образовывало в общей сложности единое целое. Во всяком случае, я разрушить его не мог.

Мисс Кью спросила:

– А где сейчас твои сестры и малыш?

– Я приведу их.

– Это недалеко?

– Достаточно близко. – Она промолчала, и я поэтому встал. – Скоро вернусь.

– Подожди, – остановила меня она. – Мне... некогда было подумать. Надо устроить все, понимаешь?

Я отвечал:

– И думать вам незачем, и все уже готово. Пока.

По пути к двери меня догнал ее голос, становившийся все громче и громче по мере того, как я уходил:

– Ну, вам, молодой человек, если вы собираетесь жить в этом доме, придется поучиться хорошим манерам... – И еще что-то в этом роде.

Я вышел из дома, прокричав ей в ответ:

– Да, ладно, *ладно*.

Солнце пригревало, небо было ясным, и в дом Дина я вернулся достаточно скоро. Огонь в очаге погас, от Малыша разило. Джейни, перевернув палитру, сидела на пороге, уткнувшись лицом в ладони. Бини и Бони, примостившись на одном табурете, так тесно прижались друг к другу, словно стоял мороз, а не жара.

Я шлепнул Джейни по руке, чтобы вывести ее из уныния. Она подняла голову, и я увидел, что серые глаза ее – ну или, может быть, чуть зеленоватые – стали цвета воды в невымытом стакане из-под молока.

Я спросил:

– Что это здесь произошло?

– Что еще и с кем могло здесь произойти? – захотела узнать она.

– Со всеми вами.

– Просто нам здесь все опостылело, вот и все, – безучастно проговорила Джейни.

– Да ладно вам, – сказал я. – Надо выполнять волю Дина. Пошли.

– Нет.

Я посмотрел на близнецов. Обе повернулись ко мне спиной.

Джейни произнесла:

– Они голодны.

– Ну так дай им чего-нибудь.

Она пожала плечами. Я так и сел. И с какой стати Дину понадобилось попадать под это самое дерево...

– Мы теперь не можем слидиняться, – буркнула Джейни. Тут я все понял.

– Что ж, – сказал я. – Придется мне быть за Дина.

Малыш забрыкал ногами. Джейни глянула на него.

– Ты не способен на это, – перевела она.

– Но я ведь знаю, где брать скипидар и харчи, – настаивал я. – Знаю, где набрать упругого мха и забить им щели, где рубить дрова. Правда, я не умею за многие мили позвать Бони и Бини, чтобы отпереть двери. И не могу сделать, чтобы все слидинялись.

Так прошли томительные часы. Наконец скрипнула колыбель. Я поднял голову, Джейни как раз смотрела в нее.

– Хорошо, – сказала она. – Идем.

– Кто это сказал?

– Малыш.

– Так кто же сейчас всем заправляет? – спросил я, немного озлившись. – Я или Малыш?

– Малыш, – отвечала Джейни.

Я поднялся, чтобы дать ей в зубы, но вдруг остановился. Если Малыш способен заставить их сделать то, что хотел Дин, значит, это будет сделано. А если я начну суетиться и пинать всех наружу, все так и останется на своем месте. Поэтому я промолчал. Джейни встала и вышла вон. Близнецы проводили ее взглядом. Потом Бони исчезла. Подобрав ее одежду, ушла через дверь Бини. Я достал Малыша из колыбельки и взвалил на плечо.

Когда все мы оказались снаружи, стало как-то легче. Вечерело, но было тепло. Близнецы порхали в кронах деревьев, как две белки-летяги, а мы с Джейни топали вперед, как будто шли купаться или по какому другому делу. Малыш начал брыкаться, Джейни посмотрела на него, а потом накормила, и он снова утих.

Когда мы пришли к окраине города, мне хотелось, чтобы все держались поближе друг к другу, однако я боялся сказать лишнее слово. Однако за меня распорядился Малыш. Близнецы вернулись к нам, Джейни отдала им их одежку, и они потопали ножками, как две зайки. Уж и не знаю, как Малышу удалось этого добиться: ходить пешком они терпеть не могли.

На нас никто не обратил внимания, если не считать одного типа, с которым мы столкнулись на улице уже около дома мисс Кью. Он буквально остоленел и принялся рассматривать нас, так что Джейни посмотрела на него и нахлобучила его шляпу, наверно, до подбородка, так что ему пришлось потрудиться, чтобы вновь водрузить ее на макушку.

Когда мы добрались до дома, я заметил, что кто-то, знаете ли, уже отмыл добела испачканную мной дверь. Одной рукой я придерживал Малыша за руку, другой придерживал его на

своей шее за лодыжку, так что стучать снова пришлось ногой, оставив на белой поверхности новую грязь.

– Сейчас нам откроет женщина по имени Мириам. Если она начнет истерику, скажи, чтобы убиралась к черту.

Дверь открылась, появилась Мириам. Едва успев взглянуть на нас, она отпрянула футов на шесть. Все мы ввалились в дом. Тут Мириам очнулась и завопила:

– Мисс Кью! Мисс Кью!

– Иди ты к черту, – невозмутимо отозвалась Джейни, впервые за все время совместной жизни выполнив мою просьбу.

Мисс Кью спускалась по лестнице. Теперь на ней было новое платье, такое же дурацкое, как и прежнее, и с не меньшим количеством кружев. Она открыла рот, но звуков не последовало. Наконец она выдавила:

– Господи, милостивый и щедрый, сохрани нас!

Став рядышком, близнецы уставились на нее. Стараясь держаться подальше от нас, Мириам отступила к стене и бочком скользнула вдоль нее к двери, пока не получила возможности захлопнуть ее. После чего сказала:

– Мисс Кью, если это и есть те самые дети, которые будут жить здесь, то я увольняюсь.

Джейни прокомментировала:

– Ну и иди к черту.

Тут Бони присела на корточки на коврик. Неразборчиво квакнув, Мириам коршуном рванулась к ней и схватила за руку, намереваясь поднять. Бони немедленно исчезла, оставив после себя немудреную одежку и непередаваемое выражение на лице Мириам. Бони по сему поводу ухмыльнулась до самых ушей и отчаянно замахала руками. Я посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и действительно – голая Бони черной пташкой сидела на самом верху на перилах лестницы.

Мисс Кью оглянулась, увидела ее и осела прямо на ступеньки. Мириам тоже повалилась на пол, словно подстреленная. Бони подобрала одежду Бони, прошла по ступенькам мимо мисс Кью и передала ее сестре. Бони оделась. Мисс Кью как бы перекатилась в сторону и посмотрела вверх. После чего обе сестрицы рука об руку спустились по лестнице и подошли ко мне. После чего стали рядышком и уставились на мисс Кью.

– Что с ней произошло? – спросила меня Джейни.

– Да вот случается такое время от времени.

– Пойдем-ка лучше домой.

– Нет, – возразил я.

Ухватившись за перила, мисс Кью поднялась на ноги и, держась, какое-то время постояла с закрытыми глазами. А потом разом взяла себя в руки, как бы став дюйма на четыре повыше. Подойдя к нам парадным шагом, она курлыкнула:

– Джерард, – как мне кажется, собираясь произнести нечто совсем другое. Однако, проявив должное самообладание, она указала пальцем и спросила: – А *это* что такое, скажи мне, ради бога? – ткнув при этом пальцем в меня.

Я сперва не понял и огляделся – нет ли чего за моей спиной.

– Где?

– Ну вот это! Это!

– А! – отвечал я. – Это и есть Малыш.

Я спустил его с плеч и вытянул руки вперед, чтобы она могла его получше разглядеть. С каким-то неистовым стоном она метнулась вперед и отобрала у меня младенца. Оглядела, держа на вытянутых руках, назвала бедняжкой и скорей пристроила в подушки, что лежали на длинной скамье под разноцветными стекляшками окон. Нагнувшись к нему, она прижала костяшки пальцев ко рту и снова застонала. А потом повернулась ко мне:

– И давно он такой?

Я поглядел на Джейни, она на меня.

– Сколько я его помню, другим он не был.

Вроде бы кашлянув, она подбежала к Мириам, кулем валявшейся на полу. Пару раз похлопала ей по щекам. Наконец Мириам села и оглядела всех нас, закрыла глаза, поежилась и каким-то образом поднялась на ноги.

– Возьми себя в руки, – прошипела мисс Кью сквозь зубы. – Принеси таз с горячей водой и мыло. Мочалку и полотенце. Живо! – приказала она Мириам, подтолкнув ее. Та пошатнулась, ухватилась за стенку и выбежала из прихожей.

Мисс Кью вернулась к Малышу и повисла над ним, стянув в ниточку рот.

– Да оставьте вы его, – сказал я. – Он-то в порядке. Это мы голодны.

Она метнула на меня оскорбленный взгляд.

– Не смей так говорить со мной!

– Вот что, – проговорил я, – ситуация эта нам нравится не больше, чем вам. Если бы Дин не приказал нам, мы сюда никогда бы не пришли. А вообще мы и без вас неплохо обходились.

Мисс Кью посмотрела на нас по очереди, а потом достала свой смешной маленький платочек и прижала ко рту.

– Вот видишь, – обратился я к Джейни. – Ей все время становится плохо.

– Хо-хо, – поддержала меня Бони. Мисс Кью долго на нее глядела.

– Джерард, – сказала она наконец сдавленным голосом. – Я-то думала, что девочки – твои сестры.

– Ну и?

Она поглядела на меня, как на полного дурака.

– Разве могут крохотные чернушки быть сестрами белому мальчику, Джерард?

– *Могут*, – ответила Джейни.

Мисс Кью заходила взад и вперед – точнее, заметалась.

– Нам предстоит очень многое сделать, – пробормотала она сама себе.

Вернулась Мириам с большой овальной лоханью, полотенцами и всем прочим припасом. Она опустила лохань на скамью, и мисс Кью локтем попробовала воду. Потом взяла Малыша и окунула в лохань. Тот начал брыкаться.

Я шагнул вперед и сказал:

– Подождите минутку. Подождите. Разве вы не видите, что он недоволен?

Мне ответила Джейни:

– Джерри, заткнись. Малыш говорит, что все в порядке.

– В каком порядке? Она же его утопит!

Взбив мыльную пену, мисс Кью окутала ею Малыша, дважды окунула его, вымыла ему голову, опять окунула и принялась душить огромным полотенцем. Мириам только смотрела на то, как мисс Кью соорудила для него из посудного полотенца какое-то подобие штанишек. И когда она закончила свое дело, Малыша было не узнать. К этому времени мисс Кью вполне совладала с собой. Она напряженно дышала, рот опять стянулся в ниточку.

– Возьмите бедняжку, – велела она Мириам, – и положите...

Но Мириам отодвинулась.

– Извиняюсь, мисс Кью, но я намерена уволиться, и мне нет до него дела.

К мисс Кью вернулась ее гусиная интонация.

– Вы не можете бросить меня в такой ситуации! Эти дети нуждаются в помощи. Разве вы сами этого не понимаете?

Мириам окинула взглядом нас с Джейни. Она дрожала.

– Вы не в себе, мисс Алисия... они же не просто грязные, они ненормальные!

– Они запущенные, Мириам, ими никто не занимался. Если бы нами с тобой никто не занимался, наверное, мы были бы ничуть не лучше. А тебе, Джерард, придется научиться правильно говорить.

– Что?

– Если вы, дети, собираетесь жить здесь, вам придется очень сильно измениться. Вы не сможете оставаться под этой крышей такими, какими были до сих пор. Вы понимаете это?

– Конечно. Дин велел нам слушаться вас, жить так, чтобы вы были счастливы.

– Вы будете делать то, что я скажу?

– Разве не это я только что сказал, как по-вашему?

– Для начала, Джерард, тебе придется научиться говорить со мной подобающим тоном. Ну а теперь, молодой человек, если я прикажу вам подчиняться всем распоряжениям Мириам, выслушаетесь меня?

– Что будем делать? – спросил я у Джейни.

– Спрошу Малыша. – Джейни глянула на него, тот засучил руками и пустил пузыри. – О'кей, – перевела она.

– Джерард, я задала тебе вопрос, – настаивала мисс Кью.

– Чего зазря кипятиться, – примирительно сказал я. – Нам ведь тоже надо разобраться, не так ли? Да, мы согласны, если вы этого хотите. Может быть, выслушаем и Мириам?

Мисс Кью повернулась к Мириам:

– Что скажете?

Мириам поглядела на мисс Кью, на нас, в раздумье покачала головой. Потом протянула руки Бони и Бини.

Они подошли к ней. Взяли за обе ладони. Улыбаясь, поглядели вверх. Наверняка задумали какую-то проказу: вид у обеих, должен признаться, был весьма лукавый, однако выглядели они, надо полагать, очень мило. Рот Мириам дернулся и, как мне показалось, на секунду принял человеческое выражение.

– Хорошо, мисс Кью, – ответила она.

Тогда мисс Кью подошла к ней, вручила младенца, и служанка последовала наверх. Следом за ней мисс Кью отправила наверх всех остальных.

Так они взялись за нас и целых три года не давали передохнуть...

– Это был сущий ад, – пояснил я Стерну.

– Они должны были сделать свое дело.

– Да, наверно. Но и мы тоже. Словом, мы намеревались в точности исполнить обещание, которое дали Дину. Ничто на земле не было способно воспрепятствовать нам. Мы были обязаны и должны выполнять каждую мелочь, которую требовала от нас мисс Кью. Однако они с Мариам как будто бы этого не понимали. Наверно, они считали, что мы должны проделать весь путь до последнего дюйма. Все, что им надо было сделать, – это заставить нас понять, что им от нас нужно, и мы исполняли это. Ну, к примеру, она запретила мне залезать к Джейни в постель. Мисс Кью устраивала из этого чистый переполох. Судя по ее словам, можно было подумать, что я украл драгоценности короны.

– Но когда звучало что-то вроде: «ведите себя, как юная леди или как маленький джентльмен» – это же просто пустые слова! И таким было каждое второе из тех ее распоряжений. Или скажет, к примеру, «ахах» или «как ты выражаешься!». Я долго-долго не мог понять, какого черта ей нужно. И наконец спросил прямо в лоб. Но вы меня понимаете?

– Понимаю, – отвечал Стерн. – Ну а потом полегче стало?

– Настоящие неприятности приключились только два раза. Однажды с близнецами, а другой раз с Малышом. Но последняя была уж совершенно никуда.

– И что же произошло?

– С близнецами? Ну, когда мы провели у нее около недели или чуть более того, то начали замечать какой-то душок. Джейни и я то есть. Мы начали замечать, что почти не видим Бони и Бини... словно бы дом разделен на две части – одну для мисс Кью и нас с Джейни, а другую для Мириам и близнецов. Наверно, мы заметили бы это еще раньше, если бы не эта сумятица первых дней... новая одежда, требование обязательно спать по ночам и все прочее. Но возникла такая вот штука, всех нас выставляют играть на боковой двор, а потом настает время ленча, и близнецы отправляются есть с Мириам, а мы едим с мисс Кью, тогда Джейни и спросила:

– А почему близнецы не едят с нами?

– Мириам заботится о них, моя дорогая, – отвечает ей мисс Кью.

Джейни посмотрела на нее вот такими глазами.

– Я это знаю. Пусть они едят с нами, и я позабочусь о них.

Рот мисс Кью опять выпрямился в ниточку, и она сказала:

– Джейн, это просто маленькие цветные девчонки. Ешь спокойно.

Однако эти слова ничего не объяснили ни мне, ни Джейни, и я сказал:

– Я хочу, чтобы они ели с нами. Дин велел нам держаться вместе.

– Но вы же и *держитесь* вместе, – говорит тогда она, то есть мисс Кью. – Все мы живем в одном доме, едим одно и то же. Давайте не будем развивать эту тему дальше.

Я посмотрел на Джейни. Она на меня, после чего сказала:

– Но почему нам нельзя жить и есть вместе, прямо здесь?

Мисс Кью положила вилку и жестко так посмотрела на нас.

– Я все уже объяснила вам и сказала, что никаких дальнейших обсуждений не будет.

Ну вот еще новости, подумал я, запрокинул голову и завопил:

– Бони! Бини!

И они сразу – *бинг* – оказались в столовой.

Тут и началось. Мисс Кью немедленно приказала им уйти, они уходить не хотели, явилась запыхавшаяся Мириам с их одеждой, стала их ловить, но, конечно же, не поймала, после чего мисс Кью начала кудяхтать на всех по-гусиному, и на меня в том числе. Она заявила, что это уж слишком. Следующую неделю ей жилось не просто, но и нам тоже. Так что мисс Кью приказала нам убираться восвояси.

Я пошел за Малышом, забрал его и вышел из дома, Джейни и близнецы присоединились ко мне. Мисс Кью дождалась того момента, когда за нами захлопнулась дверь, после чего бросилась вслед за нами, обогнала и стала передо мной, заставив меня остановиться. Так что оставились и все остальные.

– Так вот как вы исполняете пожелания Дина? – спросила она.

И я сказал ей: так. Она ответила, что, по ее мнению, Дин хотел, чтобы мы оставались у нее. И я сказал:

– Да, но более того он хотел, чтобы мы держались вместе.

Тут она сказала, мол, возвращайтесь, нам надо поговорить. Джейни спросила у Малыша, что он думает по такому поводу. И Малыш сказал ей о'кей, так что все мы вернулись. После чего пришли к компромиссу. Больше мы не обедали в столовой. Сбоку было еще такое крыльцо, что-то вроде веранды с застекленными окнами, откуда одна дверь шла на кухню, а другая в столовую, где все мы и ели, а мисс Кью обедала в одиночестве. Однако из всего этого дурацкого скандала получилась забавная штука.

– А именно? – спросил меня Стерн.

Я усмехнулся.

– Нас развеселила Мириам. Внешне она относилась к нам точно так же, как и всегда, однако вышло, что она стала совать нам между завтраком и обедом всякие печеньки. Знаете ли, мне пришлось потратить не один год на то, чтобы понять причину. Я это серьезно. Судя по тому, что мне удалось узнать о людях, существуют две армии, сражающиеся по поводу расы.

Одна борется за то, чтобы расы держались порознь, другая, наоборот, за то, чтобы все были вместе. Только не понимаю, почему обе партии так озабочены этим вопросом. Почему нельзя просто забыть его?

– Они не могут этого сделать. Понимаешь ли, Джерри, людям всегда необходимо видеть в себе что-то высшее. Ты, Дин и ребята были чрезвычайно близки друг с другом. Разве вам иногда не казалось, что вы в чем-то лучше всех остальных людей?

– Лучше? Но в чем мы могли оказаться лучше других?

– Если не лучше, то, должно быть, не такими, как все.

– Что ж, наверно, действительно так, однако мы не думали об этом. Мы были непохожими, это да, но чтобы лучшими... точно нет.

– Вы – случай особый, – проговорил Стерн. – Но теперь продолжай, расскажи мне о другой вашей беде, о том, что у вас вышло с Малышом.

– Значит, так. Ну это случилось через пару месяцев после того, как мы перебрались к мисс Кью. Все уже вроде бы начинало улаживаться. Мы уже усвоили все эти «да, мэм, нет, мэм», и она начала донимать нас учением – каждый день по утрам, пять дней в неделю. Джейни давно уже перестала заботиться о Малыше, а близнята шастали где хотели. Вот была забава! Они то и дело перепрыгивали с места на место, прямо перед глазами мисс Кью, а она словно бы не замечала этого. Только все время расстраивалась, что они то и дело оказывались голышом. Потом они прекратили это, и ей оставалось только радоваться. Было чему: она ведь давно никого не видела – целые годы. Даже счетчики вывела наружу, чтобы никто не входил в дом. А с нами начала оживать. Подумать только, скинула свои старомодные тряпки и сделалась похожей на женщину. Иногда даже ела с нами.

И вот однажды я проснулся со странным чувством. Словно бы у меня что-то украли, пока я спал. Через окошко я перелез по карнизу в комнату Джейни, чего мне делать не разрешалось, и разбудил ее. До сих пор помню ее глаза. Сперва такие щелочки со сна, а потом хлоп – и глазаща. Она сразу поняла, в чем дело.

– Нет Малыша!

Тут нам стало не до того – спят в доме или нет. Из ее комнаты мы бросились в дальний конец коридора, где в крошечном закутке обитал Малыш. Не поверишь! Хорошенькая колыбель, белый шкаф с выдвижными ящиками, погремушки и всякая чепуха – все исчезло. Вместо них водворился письменный стол. Ну как если бы Малыша не было там вообще.

Мы не перемолвились и словом. Просто развернулись – и в спальню мисс Кью. Я был там только раз, а Джейни немногим чаще. Но можно нам входить, нельзя ли – теперь было безразлично. Мисс Кью еще лежала в постели. Волосы ее были заплетены в косу. Она проснулась, едва мы открыли дверь, и принялась отодвигаться от нас, пока вплотную не уткнулась в спинку кровати. И тогда холодно так поглядела на нас.

– Что это все значит? – пожелала она узнать.

– Где Малыш?! – завопил я.

– Джерард, – говорит она тогда, – кричать нет необходимости.

Даже Джейни, всегда такая спокойная, сказала совершенно уж грозным тоном: «Ответьте нам, где он, мисс Кью». От такого тона я и сам бы в штаны напустил.

И тут вдруг мисс Кью забывает про всякую каменную невозмутимость и протягивает нам руки.

– Дети, – говорит она, – я прошу прощения. В самом деле, прошу. Но, по-моему, я сделала так, как надо. Я отослала Малыша жить с подобными себе. Здесь мы не можем сделать так, чтобы ему было хорошо. Вы же понимаете это.

Джейни ответила:

– Он никогда не говорил нам, что ему плохо.

Мисс Кью выдавила короткий смешок.

– Если бы только он, бедняжка, умел говорить.

– Лучше верните-ка его назад, – сказал я, – вы не понимаете, что делаете. Я же предупреждал, что нас нельзя разлучать.

Она уже начала раздражаться, но еще сдерживалась.

– Милые мои, я попробую объяснить вам. И ты, и Джейни, и близнецы – нормальные дети. Вы вырастаете, станете взрослыми. Только бедный Малыш – иной. Он не будет расти, не сможет ходить и играть, как прочие дети.

– Это неважно, – отвечала Джейни, – вы не имели права отсылать его.

Я с ней согласился:

– Ага, лучше верните его назад, да побыстрее.

Тут уж взбрыкнула она.

– Среди всего, чему я вас учила, есть и такое – не командовать старшими. А теперь бегите, одевайтесь к завтраку – и забудем об этом.

Тут я сказал ей самым благородным образом:

– Вы собираетесь распорядиться, чтобы его немедленно вернули сюда. И отдать это распоряжение вы собираетесь без отлагательства. Иначе...

После этого она выскочила из кровати и выставила нас из комнаты.

Я ненадолго умолк, и Стерн спросил:

– И что было дальше?

– Ну, – ответил я с коротким смешком, – она привезла его обратно. Если хорошенько подумать, забавная ситуация. Три месяца она нами командовала, распоряжалась, так сказать, как петух в курятнике, и тут вдруг мы устанавливаем свои правила. Мы делали что могли, чтобы соответствовать ее представлениям о том, как надо жить, но тут, видит бог, она зашла чересчур далеко. Свое она получила с того мгновения, как захлопнула за нами дверь своей спальни. У нее был под кроватью большой фарфоровый горшок, так вот, он вдруг взлетел в воздух и врезался прямо в зеркало на ее туалетном столике. А потом выдвинулся ящик из ее комода, оттуда вылетела перчатка и шлепнула ее по лицу.

Она попыталась спастись в кровати, но едва забралась туда, как на постель обрушился целый пласт штукатурки. Потом в ее маленькой ванной комнате сорвало кран, и как только раковина переполнилась, все ее вещи попадали со своих крючков. Тут она решила выскочить в коридор, но дверь заклинило, а когда она изо всех сил потянула за ручку, дверь перестала сопротивляться, и она упала на пол. Тут мы вошли и укоризненно посмотрели на нее. Она рыдала. До этого мгновения я даже не представлял себе, что она на это способна.

– Так вы вернете назад Малыша?

Она все лежала и рыдала. А потом посмотрела на нас, такая жалкая. Мы помогли ей подняться и сесть в кресло. Она посмотрела сперва на нас, потом на зеркало, потом на изуродованный потолок и только потом прошептала:

– Что случилось, что случилось?

– Вы увезли отсюда Малыша, вот что, – проговорил я.

Тут она подскочила с места и объявила низким таким, полным настоящего испуга, но сильным голосом:

– Что-то упало на дом. Наверное, самолет. Или же случилось землетрясение. О Малыше мы поговорим после завтрака.

Я сказал:

– Еще порцию, Джейни.

Тут ей на голову и грудь плеснуло водой, отчего ночная рубашка облепила все ее тело, что, кажется, расстроило ее больше всего. Косы сами собой поползли вверх, заставив ее в конце концов вытянуться в струнку. Она собралась завопить, но пудра, брызнувшая из баночки на туалетном столике, залепила ей рот. Она принялась выковыривать ее.

– Что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете? – залилась она наконец слезами.

Тут Джейни так посмотрела на нее, заложила руки за спину и с таким достоинством ответила:

– Ничего. Мы не делали ничего.

А я добавил:

– Пока не начинали. Так будет Малыш дома или нет?

Тут она как закричит:

– Прекратите! Прекратите немедленно! Прекратите говорить об этом монголоидном идиоте! От него нет никакой радости! Даже ему самому.

Тогда я сказал Джейни:

– Тащи крыс.

Немедленно за плинтусом что-то прощуршало. Мисс Кью прикрыла лицо обеими ладонями и осела в кресле.

– Только не крысы, – проговорила она. – В этом доме никогда не было крыс.

Тут послышался красноречивый писк, и она разлетелась на части. Случалось ли вам видеть человека в подобном состоянии?

– Да, – коротко ответил Стерн.

– Я был тогда совсем вне себя. Полностью. Совершенно, – продолжил я, – но даже для меня этого было чересчур много. Все-таки она не имела права отсылать Малыша из дома. Потребовалась пара часов на то, чтобы она привела себя в состояние, пригодное для того, чтобы позвонить по телефону, однако Малыша мы получили назад перед самым ленчем.

Я усмехнулся.

– Что здесь смешного?

– О, что мисс Кью так никогда и не сумела в точности вспомнить, что с ней произошло. Недели через три она при мне разговаривала с Мириам об этом событии. По ее мнению, дом вдруг осел. Она сказала, что самым удачным образом отправила перед этим Малыша на медицинское обследование – а то беднягу могло бы и пристукнуть чем-нибудь. Она самым неподдельным образом была уверена в этом.

– Вполне возможно. Такое нередко случается. Мы никогда не верим в то, во что не хотим верить.

– Ну а насколько вы верите мне? – вдруг спросил я.

– Я уже говорил тебе – это неважно. Моя работа состоит не в том, чтобы верить или не верить.

– Вы и меня не спросили, насколько я сам всему этому верю.

– Мне это не нужно. Ты сам должен назначить себе меру.

– А вы *хороший* психотерапевт?

– Думаю, да, – сказал он. – Так кого же ты там убил?

Вопросом этим он застиг меня абсолютно врасплох, и я выпалил:

– Мисс Кью. – А потом начал браниться и ругаться. – Я не собирался рассказывать вам об этом.

– Не беспокойся, – ответил он. – А почему ты это сделал?

– Вот за этим я и пришел к вам, чтобы узнать.

– Значит, ты и в самом деле ненавидел ее.

Я залился слезами. В пятнадцать-то лет!

Он дал мне выплакаться. Сначала были хлюпанья и всхлипывания, потом прорезались рыдания и стоны, от которых болело горло. Хлынули сопли, я даже не подозревал, сколько их может быть. А за ними полились слова.

– А вы знаете, откуда я? Первое мое воспоминание – удар по рту. Вот она, перед глазами, – приближающаяся ладонь. Огромная... больше моей головы. Чтоб не орал, значит. И с

тех пор я боюсь кричать. А тогда вопил, потому что проголодался. Или холодно стало. А может, и то и другое сразу. После помню огромную спальню и еще: кто больше украл, тому больше досталось. Плохо будешь себя вести – побьют, хорошо – получишь конфетку. Самая большая награда – это когда тебя оставляют в покое. Попробуй-ка так жить. Попробуй жить, когда самое дорогое, самое желанное в этом проклятом мире – чтобы тебя только оставили в покое!

И после всего – чудо с Дином и его ребятами. Удивительное это дело – чувствовать себя дома. Я и не знал такого. Две тусклые лампы, угольки очага, но как они освещают мир! И в них – твоя жизнь.

И вдруг все переменялось: чистая одежда, еда – вареная и жареная. Каждый день пять часов школы, всякие Колумбы да короли Артуры и учебник по гражданскому законодательству двадцать пятого года с разъяснениями по части септика. А сверху над всем – квадратная ледяная плита, и ты видишь, как она тает, как округляются углы, и понимаешь, что это из-за вас, мисс Кью... Черт, она слишком хорошо владела собой, чтобы сюсюкать над нами. Однако чувство это было рядом. Дин заботился о нас просто потому, что он жил так и не мог иначе. Мисс Кью тоже заботилась, но не потому, что не могла по-другому. Просто она решила это сделать.

У нее были странные представления о «правильном» и «неправильном», и она добросовестно пользовалась ими для нашего воспитания. Когда чего-нибудь не понимала, то считала, что в этом ее вина... но сколько же всего она не понимала и не в силах была понять. Однако считала: выходит хорошо – наш успех, плохо – ее ошибка. Ну а на последний год... О боже.

– Что?

– Значит, я убил ее, слушайте, – начал я, понимая, что придется говорить побыстрее. Не то чтобы нужно было торопиться, просто хотелось поскорее отделаться. – Я расскажу все, что мне об этом известно. Это было за день до того, как я убил ее. Я проснулся утром, накрахмаленные простыни похрустывали подо мной, солнце пробивалось сквозь белые занавески и яркие красно-синие шторы. Рядом стоял шкаф с моей одеждой, моей, понимаете ли, а ведь прежде у меня никогда не было ничего своего... Внизу Мириам, гремя посудой, готовила завтрак. И близнецы смеялись. Смеялись с *ней*, понимаешь, а не друг с другом, как прежде.

В соседней комнате, слышалось, уже расхаживала Джейни и что-то распевала... И я уже знал, что когда мы увидимся, лицо ее будет сиять изнутри и снаружи. Я встаю. Из крана льется вода, горячая, настоящая, зубная паста щиплет язык. Одежда как раз по мне. Я спускаюсь. Все уже собрались, и я рад их видеть, а они меня, и только мы рассаживаемся вокруг стола, спускается мисс Кью, и все радостно приветствуют ее.

Так и продолжается утро. Потом начинается школа, здесь же, в большой гостиной. Близнецы, высунув языки, вырисовывают буквы, вместо того чтобы писать их. И Джейни, когда наступает для этого час, рисует картину, настоящую: корову под деревом, а рядом желтый забор, уходящий неведомо куда. Я плутаю меж двух частей квадратного уравнения, мисс Кью наклоняется, чтобы помочь, и я чувствую запах духов, которыми пахнет ее одежда, поднимая голову, чтобы принюхаться, а вдалеке на кухне стучат кастрюли.

Так же проходит день, школа, занятия, а потом – со смехом во двор. Близнецы ловят друг друга и удирают при этом на двух ногах. Джейни дорисовывает листья, чтобы мисс Кью сказала, что все именно так, как должно быть. Малыш удостоился большого манежа, но и там не думает ползать, просто следит за всеми, пускает пузыри, время от времени его набивают пищей и чистят, так что он сверкает, как чайник.

Ну а потом вечер, ужин, а после мисс Кью читает нам на разные голоса, как того требует повествование... только иногда начинает читать быстрее, если что-то смутит ее...

Теперь ты понимаешь, что мне оставалось только убить ее. Вот и все.

– Но почему же – ты так и не объяснил этого, – проговорил Стерн.

– Ты что – дурак? – завопил я.

Стерн промолчал. Я повернулся на живот и поглядел на него, подпирая подбородок руками. Трудно было понять, что он чувствует, но мне показалось, что он озадачен.

– Я же объяснил причину.

– Не понял.

И я вдруг понимаю, что слишком многого хочу от него, и медленно произношу:

– Все мы просыпались в одно и то же время. И все время выполняли чужие желания. Целыми днями мы жили не так, как хотели, думали чужие мысли, говорили чужими словами. Джейни рисовала чужие картинки. А Малыш молчал. И мы были счастливы. Ну понял теперь?

– Нет еще.

– О боже! – Я подумал немного. – Мы не слидинялись.

– Слидинялись? Ах да. Но после смерти Дина этого ведь не было.

– Но из-за другого. Словно в машине кончился бензин, но сама машина была цела. Просто ждала. А когда нами занялась мисс Кью, машину разобрали на части. Понял?

Теперь уже ему пришлось задуматься. Наконец он сказал:

– Иногда рассудок заставляет нас делать разные забавные вещи. Причем некоторые полностью безумны, смешны, ложны. Но краеугольный камень всей нашей работы таков: все, что делает человек, подчиняется строгой и непреклонной логике. Зачерпни поглубже – и найдешь в нашей науке причины и следствия, как и во всякой другой. Заметь, я говорю о «логике» – не об «истине», не о «справедливости», не о «правоте» или чем-то еще в том же роде. Логика и правда чрезвычайно различны между собой, однако зачастую они кажутся одним и тем же для ума, следующего собственной логике.

И когда разум бывает обращен внутрь себя, когда он противоречит требованиям поверхностной мысли, человек ощущает смятение. Я вижу, что ты имеешь в виду: для того, чтобы сохранить или возобновить ту особую связь, что объединяла вас, тебе необходимо было устранить мисс Кью. Но логики не улавливаю. Не понимаю, почему осуществление этого «слидинения» стоило гибели обретенного вами покоя, раз ты сам признаешь, что вел приятную жизнь.

С отчаянием в голосе я проговорил:

– Может, и не стоило.

Стерн наклонился вперед и указал на меня черешком трубки.

– Нет, стоило, раз ты это сделал. Потом, конечно, дело приобрело другой оборот. Но в тот миг тобою руководило именно это побуждение: устранить мисс Кью, чтобы возобновить вашу особую близость. Но вот причин этого импульса я не понимаю, да и ты тоже.

– А как мы можем докопаться до этого?

– Это как раз и есть та самая «неприятная вещь», но если ты хочешь...

Я лег.

– Готов.

– Хорошо. Теперь скажи мне, что же произошло перед тем, как ты убил ее?

Я начал восстанавливать в памяти тот день, пытаюсь припомнить вкус пищи, звук голосов. Одно и то же ощущение уходило и приходило вновь – крахмальная жесткость простыни. Я постарался прогнать его – ведь так было с утра, но оно вернулось, и я понял, что оно было уже под конец.

Я сказал:

– Я ведь говорил вам – мы занимались чужим делом вместо своего собственного, а Малыш молчал, и все были счастливы, поэтому я и убил мисс Кью. Я долго добирался до этой мысли, долго думал, прежде чем приступить к делу. Помнится, я тогда лежал в постели и думал – целых четыре часа. А потом встал. Было темно и тихо. Я вышел в коридор, вошел в комнату мисс Кью и убил ее.

– Как?

– В том-то и дело! – заорал я изо всех сил. А потом успокоился. – Там было ужасно темно... до сих пор не знаю, как я это сделал. И не хочу знать. Она ведь любила нас. Я уверен. Но мне пришлось убить ее.

– Хорошо, хорошо, – отозвался Стерн. – И нечего теперь поднимать такой шум. Ты ведь...

– Что?

– Ты ведь довольно силен для своего возраста, Джерард.

– Есть такое дело.

– Итак, – проговорил он.

– Я до сих пор не могу понять той логики, о которой вы говорите. – И я произнес, сопровождая каждое слово ударом кулака по кушетке: – Почему – мне – пришлось – идти – к – ней – и – делать – это?

– Прекрати, – распорядился он. – Тебе самому больно.

– По справедливости, – ответил я.

– Вот как? – проговорил Стерн.

Я поднялся, подошел к столу и налил себе воды.

– Что мне теперь делать?

– Скажи, а что ты делал после того, как убил ее... пока не пришел ко мне?

– Не так уж много – все случилось только вчера. Я взял ее чековую книжку. И, словно в столбняке, вернулся к себе в комнату. Потом оделся, но не стал обуваться. Ботинки я держал в руках. А потом бродил, пытаюсь все обдумать, и направился в банк к открытию. Снял одиннадцать сотен. Решил посоветоваться с психиатром и целый день выбирал, к кому обратиться. Вот и все.

– А деньги по чеку получил без проблем?

– Я всегда могу заставить человека сделать именно то, что мне нужно.

Он что-то удивленно буркнул.

– Я знаю, о чем ты подумал. Но мисс Кью я заставить не сумел.

– Так, – согласился он.

– Если бы я это сделал, – проговорил я, – она перестала бы быть собой, перестала бы быть мисс Кью. Ну а банкир... я только велел ему быть банкиром. – Я поглядел на него и вдруг понял, зачем он все время возился с трубкой, – чтобы опущенные веки скрыли его глаза, и я не мог бы увидеть их.

– Ты убил ее, – проговорил он, и я понял, что он меняет тему, – и погубил нечто важное для себя. Дорогое, но все-таки менее ценное, чем возможность восстановить то, что ты испытывал в компании этих детей. Но до конца ты еще не выстроил свою систему ценностей. – Он поднял глаза: – Правильно я тебя понял?

– Более или менее.

– А ты знаешь истинную причину, которая заставляет людей убивать? – Я молчал, поэтому он сам и ответил: – Чтобы выжить. Чтобы спасти себя или нечто, отождествляемое с собой. Но в твоем случае закон не срабатывает – с точки зрения выживания мисс Кью была для тебя и всей группы куда ценнее, чем то, другое.

– Тогда выходит, что у меня просто не было причин убивать ее.

– Были, раз ты убил. Просто мы еще не добрались до них. То есть причину мы знаем, только непонятно, почему она оказалась настолько важной, решающей. Ответ таится в тебе.

– Где же? – Он встал и начал расхаживать по комнате. – Имеем вполне последовательное жизнеописание. Фантазии в нем, конечно, перемешаны с фактами, о некоторых областях нет подробной информации, однако мы располагаем концом, началом и серединой. Не могу сказать с полной определенностью – однако, скорее всего, ответ может оказаться на мостике, который ты недавно не захотел переходить. Не забыл?

Я вспомнил и возразил:

– Почему там? Разве нельзя попробовать что-нибудь еще?

Он невозмутимо заметил:

– Потому что ты сам и признался.

– Не стоит придавать такое значение пустякам, – отвечал я. Этот тип время от времени начинал раздражать меня. – Это смущает меня. Не знаю сам почему.

– Там что-то скрыто, и ты боишься, что это выйдет наружу, и оно сопротивляется. То, что стремится остаться скрытым, скорее всего, именно то, что нам и нужно. Причина твоего беспокойства сокрыта, так ведь?

– Ну да, – пробормотал я, вновь ощущая ту дурноту и слабость и заново отгоняя их. После чего понял, что больше не потерплю никаких препятствий.

– Словом, продолжим. – И я лег.

Он позволил мне хорошенько изучить потолок, а потом произнес:

– Ты в библиотеке. Ты только что встретился с мисс Кью. Она расспрашивает тебя, а ты рассказываешь о детях. – Я лежал очень тихо. Однако ничего не происходило. Впрочем, нет. В теле моем возникла напряженность, распространявшаяся от самых костей, становившаяся сильней и сильнее. Наконец терпеть стало уже невмочь, однако ничего не произошло.

Потом я услышал, как он встал, подошел к столу. Покопался в нем, раздался щелчок, а за ним последовал шелест. И вдруг я услышал собственный голос:

– *Есть еще Джейнни, ей одиннадцать, как и мне. Бини и Бони по восемь, они близнецы. Еще Мальши. Ему – три.* – И звук собственного вопля...

А потом пустота.

Я вывалился из темноты, размахивая кулаками. Сильные руки ухватили мои кисти. Они не пытались удержать меня на месте, только ограничивали движение. Я открыл глаза. Было мокро. Термос лежал на боку. Стерн согнулся надо мной, не выпуская моих рук. Я успокоился.

– Что случилось?

Он отпустил меня и медленно выпрямился.

– Боже, – сказал он, – какой разряд!

Я взялся за голову и застонал. Он бросил мне ручное полотенце, и я воспользовался им.

– Что это было?

– Я все время записывал твои слова на магнитную ленту, – пояснил он, – и раз ты никак не мог вспомнить, я попытался подтолкнуть тебя, воспользовавшись твоим же собственным голосом. Иногда этот прием творит чудеса.

– Чудо состоялось, – проворчал я, – только во мне все пробки, кажется, перегорели.

– По сути дела, да. Ты колебался на границе нежелательного воспоминания и предпочел потерять сознание, лишь бы не входить туда.

– Чем же вы довольны в таком случае?

– Осталась последняя траншея, – ответил он. – Мы уже у цели. Попробуем еще разок.

– Хватит. А то в ней и помру.

– Отнюдь. Ведь этот эпизод долго жил в твоём подсознании, и ничего, ты оставался жив.

– А на этот раз останусь?

– В любом случае не умрешь.

– Вы точно знаете, что если мы извлечем это наружу, оно не убьет меня?

– Сам увидишь.

Я поглядел на него сбоку, искоса и вдруг понял – он знает, что делает.

Врач негромким голосом пояснил:

– Теперь ты узнал о себе больше, чем прежде. Обратись к интуиции. Сам почувствуешь, как пойдут дела. До конца можешь не идти, оставь резерв для защиты. И не беспокойся. Доверься мне. Если станет совсем худо, я помогу. А теперь расслабься. Гляди на потолок

и помни о больших пальцах ног. Не гляди на них, гляди вверх. Пальцы, большие пальцы. Не шевели ими, постарайся ощутить каждый. А теперь начинай считать пальцы на ногах по одному, начиная от большого. Один, два, три. Ощути этот третий палец, ощути его, почувствуй, как он расслабляется, расслабляется, расслабляется. А потом следующий за ним на обеих ступнях расслабляется. Расслабляется, потому что расслабились и все прочие пальцы, все расслабились...

– Что ты делаешь? – закричал я.

Он отвечал тем же шелковым голосом:

– Ты мне веришь, и пальцы твои тоже. Они расслабились, потому что верят мне. Ты...

– Ты пытаешься загипнотизировать меня. Я не согласен!

– Ты сам себя гипнотизируешь. Я просто направляю тебя на нужный путь. И никто не заставит тебя идти туда, куда ты не хочешь, но ты сам желаешь следовать в ту сторону, где твои пальцы расслабились, где...

И так далее. Где раскачивающийся золотой медальон на цепи, где яркий свет, где таинственные пассы? Я даже не видел Стерна. И не ощущал сонливости, о которой всегда говорили! Да, он знал, что сна у меня ни в одном глазу и спать я не собираюсь. И я захотел стать пальцем. Расслабленным пальцем. Безмозглым, идущим, идущим, идущим одиннадцать раз, одиннадцать, мне одиннадцать.

Я раскололся надвое, и это меня несколько не смущало. Одна часть следила за другой, возвращающейся в библиотеку, а мисс Кью наклонялась ко мне, шуршала подо мной газета на кресле, и я сидел в одном ботинке, шевеля расслабленными пальцами другой ноги... я только слегка удивлялся всему этому. Гипноз гипнозом, но я в полном сознании оставался в кабине Стерна. Лежал на кушетке, а Стерн гудел за моей спиной, и я в любой момент мог перевернуться на живот и сесть, и выйти отсюда. Только я не хотел. Ну, если гипноз таков – я за него. Поработаем.

Там, на столе я мог видеть золотое тиснение на коже, и смогу ли я остаться возле этого стола с вами, мисс Кью...

...Бони и Бини по восемь, они близнецы. Еще Малыш. Ему три.

– Малышу – три, – повторила она.

Сперва надавило, раздвигая, лопнуло, и в муке блаженства потонула боль.

Это было внутри. Все свершилось в один миг, все.

Малышу – три. И моему малышу исполнилось бы сейчас три, только его не было никогда. Дин, я открылась перед тобою. Открылась... или этого мало?

Его глаза. Эти колеса. Уверена, что они вращаются, однако никогда не могла поймать их в движении. Незримым мостом они связывали его мозг с моим. Знает ли он, чего мне все это стоит? Понимает ли? Не знает, не понимает, он опустошает меня, а я его наполняю. И он пьет, потом ждет, пока я наполнюсь, и вновь пьет, не замечая чаши.

Я увидела его, когда танцевала в лесу под солнцем и ветром. Я кружила, а он, замерев в тени, следил за мной. Я ненавидела его за это. Это был не мой лес. Не моя позолоченная лужайка в оправе из папоротника. И он, явившись сюда незванным, отнял у меня мой танец. Я ненавидела его за это. Он стоял, утопая по лодыжку в нежных влажных папоротниках, похожий на дерево, с ногами-корнями и в одежде цвета земли. Я остановилась тогда, он шевельнулся и превратился из дерева в мужчину, рослого, коренастого, с могучей мускулатурой. Грязное животное. Ненависть моя вдруг обратилась в страх, и я застыла.

Он знал, что сделал со мной, и не смущался. Не плясать мне больше: теперь я знаю, что у деревьев есть глаза, а лес полон высоких, широкоплечих, грязных животных-мужчин. Летние ночи, когда одежда душит тело, зимние ночи с их бесценными благопристойностями, что

окружают меня и заключают в себе. И не плясать мне более, не вспомнить о пляске, не ощутив заново того потрясения, которое я перенесла, когда он увидел меня. Как я его ненавидела! О, как я его ненавидела!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.